



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1991

10.335/
~~1991~~ / 4





საქართველოს
წიგნების კავშირი



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1991

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- АННА КАЛАНДАДЗЕ. Стихи. Перевод Генриха Варденги 3
- ЛАВРОСИЙ КАЛАНДАДЗЕ. Красота бесплотна. Перевод Ирины Зурабашвили 3
- ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Зменная рубашка. Роман. Перевод Камиллы Коринтэли. «Напутственное слово» Стефана Цвейга 7
- МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ. Стихи. Перевод Николая Владимирова 55
- ТЕИМУРАЗ КУРДОВАНИДЗЕ. «...Заступник мой еси». Роман. Перевод Анаиды Беставашвили 58

1

Издательство «Самшобло», Тбилиси
Журнал выходит с июня 1957 года

МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ. **Метафизика**

Антонена Арто. Вступительная статья
Ирины Гогоберидзе 176

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ДАВИД ТЕВЗАДЗЕ. Галактион и революция?! 198

НУГЗАР МУЗАШВИЛИ. Суровая правда . 210

ЖАНИН НЕБУА-МОМБЕ. Страницы прошлого
листая. Вводка Михаила Буянова . . . 218

ХРОНИКА 223



Два стихотворения

1

И... когда венценосное солнце явилось,
дорогой мой, на свет родилась я когда,
— Будет счастлива, — ангел сказал златокрылый.
— Будет счастлива, ты говоришь? Никогда! —
возгласил сатана,

меч обрушил на море,
вал отхлынул, и я на пустом берегу...
Мир померк, и душа моя в черном уборе,
я уже не люблю, я любить не могу...

Да, когда я увидела света потоки,
понимаешь, на свет появилась когда,
— Дай Бог счастья ей, — ангел сказал черноокий.
Сатана рассмеялся:
— Ха-ха! Никогда!

2


Дивно украшены грядки и сад,
снова и снова твой снегопад!
Только невидимых пальцев касанья —
высшая встреча — без расставанья!

Перевод Генриха ВАРДЕНГИ

Лавросий КАЛАНДАДЗЕ

Красота бесплотна

Гете принадлежат слова: если хотите хорошо понять поэта, первым делом познакомьтесь с его родиной. Под понятием «родина» подразумевается многое, в том числе и сказки, и легенды, и мистические предания.


16.03.2010
010-11101033

Родина Анны Каландадзе — гурийское село Хидистави, раскинувшееся на обоих берегах реки Губазоули... Уроженцу тех мест трудно забыть бесконечную сказку, а если угодно, симфонию этой реки. Даже величайшие достижения разума не сравнятся с красотой, рожденной в душе здешнего человека этими сказками и мелодиями.

Мне почему-то кажется, что это село прекрасно во все времена года, но если вы пожелаете увидеть его пленительную и восхитительную красоту, то, конечно же, лучше всего посетить его в конце апреля, либо в начале мая, когда оно утопает в той удивительной вешней дымке цветущих деревьев. Надо просто суметь разглядеть невидимое, и ты увидишь, как из каждого цветка выпрыгивают гномики, веселые, резвые, озорные гномики — крохотные, кудрявые девчушки и мальчишки. Возможно, одного из них вы найдете в лирической зарисовке того уголка:

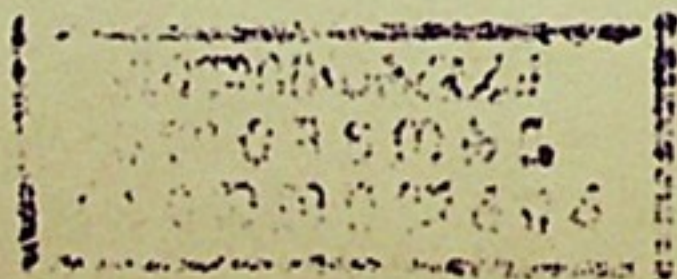
Акациевая роща...
Слабый плетень...
Раскрытый квеври...
Винный ковш...
Тут в руках, опаленных солнцем, —
Стакан вина...
Там, в пустом квеври, —
Гномик в заточении...
Благословите, братья,
Дедом данное наследство,
Мою усадьбу —
Предмет вечных мечтаний! —
Акациевую рощу...
Слабый плетень...
Винный квеври,
Винный ковш...

Здесь в каждом отрезке — своеобразная эмоциональная биография. Особенно емки и достаточно прямолинейны строки:

**Благословите, братья,
Дедом данное наследство.**

Вероятно, кому-нибудь захочется узнать, кто и когда заточил гномика в квеври или же каким образом сей фантастический эпизод нашел место во вполне реальной поэтической зарисовке?

Наверное многим в тех краях известна сказка о том, как





საქართველოს
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

некий дворянский сын в сумерки поймал гномика и ~~заточил~~ в пустой кевври, но не отрезал ему волос. Отрежь он ему ~~волосы~~ — и гномик не смог бы убежать. Неостриженный гном сбежал в новогоднее утро и, прокляв род того дворянина, пожелал, чтобы в его доме не загорался очаг в Новый год. И правда, в том доме долгие годы не горел очаг в новогоднее утро. Однажды отец того семейства возвращался домой от дальнего родственника. Неподалеку от своей деревни, когда он переходил ручей, его окружили верещавшие гномики. Один из них как две капли воды походил на его младшую дочь. Этот гномик прыгнул в воду и позвал: «Папочка, иди сюда! Здесь прекрасное озеро. Поплаваем вместе и сладко заснем». Затем гном звонко расхохотался, пообещал путнику, что больше не погаснет их очаг в новогоднее утро, и исчез.

Отец семейства, возвратившись домой, на несколько дней лишился дара речи... А затем, конечно же, рассказал всем о случившемся.

Вот такую историю слышал я в своем селе. Вероятно, чистоту чувств следует искать где-то на стыке услышанного, увиденного и пригрезившегося. И разве можно назвать стихотворением то, что не сможет вывести тебя за свои рамки и ввергнуть в мир твоих собственных ощущений и представлений.

А может, именно с того гномика и начинается изображение бесподобной красоты? Во всяком случае, после написания стихотворения с гномом (а оно было написано в 1946 году) пройдет четверть века, и поэт устремится к бесподобной красоте, скажет нечто удивительное (удивление же одно из существенных черт поэзии):

142.465

Ты бесподобна, красота,
И величие твое воспевалось ветрами,
Расцветало ранней весной
На земле и в небесах...
И было возвышенно твое мерцание,
И были светлы твои недра...
Ты бесподобна, красота,
И на земле, и в небесах.

Отдайтесь чувству прекрасного, которое разбудили в вас эти строки. И возможно убедитесь, что истинная красота именно в содержании, а не в форме. Ведь сказал же Бараташвили, что красота, спустившаяся с небес, светла.

საქართველოს
ეროვნული
ბიბლიოთეკა



Красота бесплотна — и не старайтесь переводить прекрасные песни на обыденный язык...

Постарайтесь понять их суть... И как только поймете суть, вы причаститесь к сладчайшему блаженству...

Когда стискивает сердце тоска и тяжелые, безрадостные думы бередят душу, я ищу утешение в любимых книгах. Среди них и книги Анны...

Перевод Ирины ЗУРАБАШВИЛИ



Змеиная рубашка

РОМАН

Гёте, — чьего «Лесного царя» еще до прочтения познал я, семилетний ребенок. Глазу Гёте — роман «Змеиная рубашка» — как любовь.

ЭКБАТАНА

...Брата моего небывшего
как любить мне больше солнца
и больше меча —
ибо был он
двойник мой.


(Высечено на камне цвета ящерицы, найденном в Хамадане).

К юго-востоку от города — холм Мюселлах. К югу от холма — большой каменный лев рыжий: словно крапленный солнцем. Каменный лев — из известняка и песка. В извести — жар солнца, в песке — семена солнца. Каменный лев — щит города. Из голых теснин Персии, где обезумевшее солнце по-

Напутственное слово

Наш европейский, да и вообще цивилизованный мир непрерывно подчиняется закону единения и устойчивого равновесия. Обычай и костюмы, народные обряды и национальные танцы на наших глазах исчезают один за другим или же искусственно, чуть ли не как музейная редкость, хранятся в качестве исторических курьезов: Европа национализируется; и когда ты находишься на улице какого-либо современного города, тебе трудно определить, на какой широте она, собственно говоря, расположена — настолько унифицируются материальные формы (а, благодаря этому, скрыто — и духовные) некогда столь выразительных, ярких народных характеров и личностей.

Любопытный человеческий дух, настроенный на естественное многообразие и перемену, всячески противится этой внешней мо-



рой утоляет свою плотоядную страсть, львиный рык низвергается в задыхающиеся ущелья и яростным потоком уносится вдаль, взрывая тишину пустых просторов. В этом грохочущем шуме — странная своеобычность: несокрушимая и величавая. Каменный лев — меч Хамадана. В пору большого полдня, когда предметы утрачивают свои тени, к каменному льву устремляется недужный: бесплодный либо пораженный сифилисом. Бесплодный обнажает фаллос перед раскаленным камнем и просит семя у рыжего льва. Сифилитик прикладывает фаллос к пышущему жаром камню и ждет исцеления от зверя с разверстой пастью. На горячий песок градом сыплется мольбы — Бог знает, на каком языке.

Холм Мюселлах — «место моления». От холма — долина длиной в пятнадцать миль и шириной в девять. Непрерывной чередой — сады и луга. Там и сям — взметнувшиеся ввысь тополя. Местами — дерево странное «нарвенд», фантастической формы. Местами — струны аллей. Долина Хамадана — волнами спускающаяся со склонов Элвенда и отлого поднимающаяся к возвышенности.

Возвышенность всхолмлена, и на холмах — город, расположенный террасами. Мюселлах — холм наивысший. Здесь стояла крепость (если верить «отцу истории»), воздвигнутая легендарным Дэйоком. Вокруг крепости — семь стен, одна другой выше, концентрически-

нотонности; и чем большее распространение получает цивилизация единения, тем дальше от нее уносится дух на крыльях фантазии. Он теперь уже не удовлетворяется тем, что лежит по соседству, рядом, а привлекает его все больше экзотическое. И вот появляется литература, заимствующая материал и художественные образы для своих произведений из заморских, тропических и арктических стран. Следует, однако, тут же оговориться, что взгляд в эти страны брошен в основном из окна скорого поезда или же с палубы океанского лайнера, зашедшего в какую-нибудь гавань во время кругосветного путешествия. Поэтому в таких коротких, сжатых репортажах отражена лишь внешняя, пестрая сторона жизни этих стран и крайне редко — подлинная сущность, первозданный аромат и уж тем паче — дыхание самой души того или иного народа.

ми окружностями. Первая стена — белая, вторая — черная. Третья — багряная. Четвертая — синяя. Пятая — красная. Шестая и седьмая же — крапленные серебром и золотом. В ограде седьмой стены, в средостении ее — дворец царский, из кедрового и кипарисового дерева. Отягченный серебром и золотом. Крытый серебряной черепицей. Так описывает Геродот, и нравится это ему. Ныне здесь лишь географический пункт («Тахт Ардэшир»)¹. Каменная платформа. Передняя часть ее — из белых четырехугольных камней. Задняя — из простого камня и песка, смешанного с известью. Все, что осталось от первого Сасанида — Ардэшира Бабегайя².

Хамадан — древняя Экбатана.

Город, раскинувшийся на северных склонах Элвенда.

Элвенд — «Оронт» древней географии. Гранитная масса, вершина которой подобна половине луны.

На расстоянии семи миль от края города — скала. Из подножья скалы выбивается река. Кверху от реки, на высоте сорока шагов — расщелина «Гендж-Намех». И там — две таблицы порфировые с надписями. Выше — ручьи. Элвенд изрезан ручьями. Персиянин верит: среди скал Элвенда сокрыт камень мудрости. Верит и

¹ Тахт Ардэшир — трон, или местопребывание Ардэшира.

² Бабегай — или на среднеперсидском яз. Папакан, — основатель династии Сасанидов. (Примечания здесь и далее — переводчика).

Для того, чтобы почувствовать и тем более отобразить ее, нужны более прочные узы, нужны корни, природное чувство и неподдельный восторг любви к родному краю. Подлинную экзотику своей страны способен отобразить в поэтическом искусстве лишь тот поэт, духовные корни которого переплелись с корнями родного народа.

Мы немало узнали благодаря все более растущему интересу наций друг к другу (и война, кстати говоря, больше способствовала, нежели препятствовала этому): эскимосы, японцы, китайцы поведали нам о своей культуре. Через Тагора и Ганди нам открылась современная, живая Индия. И вот теперь благодаря роману Григола Робакидзе мы, я полагаю, впервые знакомимся с еще одним народом — грузинами. Это древнейшая нация, с

в то, что на горе, изрезанной ручейками и ключами, произрастает таинственная трава, исцеляющая ото всех недугов. Персиянин знает: на Элвенде растет магическая трава, которая одним прикосновением своим простой металл обращает в багряное золото. Но не знает он, что сам Гендж-Намех и есть магия и волшебство. Гендж-Намех, который два с половиной тысячелетия безмолвными словами, словно очами, глядит на окрестности Хамадана.

На одной из порфировых табличек высечено:

Великий бог Аурамазда,
который создал эту землю,
который создал это небо,
который создал человека,
который создал удовольствия и радости
для человека,
который посадил царем Дариуса,
царя, единственного из многих,
царя страны, единственной из многих, —
Я есмь
царь Дариавуш,
царь, величайший из царей,
царь, над многими странами стоящий,
царь этой великой земли
отныне
сын Вистаспа!
Ахеменид.

¹ В современной исторической науке принята форма Гистасп.

которой входил в соприкосновение еще Александр Македонский во время своих походов. Грузины на протяжении веков противостояли мощному натиску и влиянию турок, персов и русских. Они пустили корни на одной из самых прекрасных земель нашей планеты, приютили представителей и других народов, процветающих здесь. Грузия знаменита благодаря богатству песен и легенд, и все же непростительно мало известна нам, европейцам. Насколько эта нация богата первобытной, мифической силой, героическим духом и вместе с тем всей душой открыта современности, я, откровенно говоря, узнал лишь теперь, прочитав эту книгу, автором которой является молодой писатель, оказавший своим искусством нам не менее великую услугу, чем своей родине. Нам представилась возможность познакомиться с новым для нас и необычайно привлекательным духовным миром, ибо глубокое пости-

Слова—как клинки. Надпись Дария—522—486г.г. д. н. э. Этот пафос имел силу. Под властью Дария были многие страны. Персия. Сирия. Месопотамия. Финикия. Палестина. Египет. Бактрия. Хорезм. От Средиземного моря — и до Китая.

...Вистаспа сын, Ахеменид. Герб Хамадана.

Хамадан — древняя Экбатана. Сокровище династии Ахеменидов.

Экбатана — летняя резиденция Ахеменидов.

«Ахеменид»: в самой фонетике слова — звон дамасской стали.

Это из Экбатаны Кир издал манифест — как обнаженный меч.

Элвенд... Близ порфировых скрижалей — алтарь солнца. Ныне — лишь его развалины.

Вероятно, разрушился он потому, что сам Хамадан и есть алтарь солнца.


...Сын Вистаспа, Ахеменид — солнечный герб Хамадана.

... ..

Полуразрушенные глинобитные стены. Чередую этих стен проходишь в город. Мечеть Месджид-джумах — сильно тронутая временем. Перед нею — площадь, там гомонит базар. Каждое утро до восхода солнца собираются там рабочие с лопатами в руках. С ними договариваются и уводят их в поля — работать на земле.

жение того или иного этнического феномена происходит прежде всего через его элическое искусство, через способность самоизображения.

Чем-то напоминающим хаос с первоначала дышит эта книга, как, впрочем, и любая другая, представляющая новую литературу. Пламенные полосы из древних легенд, из баллад седой, забытой старины как бы вплетены здесь в общую орнаментальную ткань сюжета. Книга ассоциируется порой с изобилием персидских героических песен, с чувственной романтикой Востока. И вдруг ярким светом высвечена современность: мы видим, как мчатся по Александровской улице советские автомашины, слышим, как цитируются стихи Бодлера — магия и реальность, старый и новый мир переплетены здесь самым необычным, неожиданным образом, что, по-видимому, можно объяснить и оправдать

Невдалеке от Месджид-джумаха есть двор —  полный могил. Здесь гробница Эсфирь и Мардохая, сложенная из кирпича. Строение венчает эллипсоидальный купол. Гробница из двух камер. Архитектура — не ранее шестивия сарацинов. В гробницу проникаешь через каменную дверь. В камне имеется отверстие. Просунешь руку в отверстие и отопрешь дверь. Первая камера — точно кладовая символов смерти. Среди них — деревянные носилки. Вторая камера — усыпальница: два саркофага с крышками черно-красного дерева. На крышках высечены еврейские письмена. Здесь покоятся Эсфирь и Мардохай. По стенам — изречения из талмуда, иные на арабском, иные на еврейском языке. Надписи глиняные. Дневные лучи, проникающие из окошечек в куполе, освещают надписи. Молиться приходят сюда не только евреи, но и мусульмане. Прилепляют на стены бумажечки, тоже с надписями: «Я, такой-то и такой-то, сын такого-то и такого-то из такого-то города посетил святое место сие и молился». Эсфирь и Мардохай! Как вторглись иудеи в мир мидийцев! На куполе аист свил гнездо. Ирония погрузившейся в века Экбатаны или юмор иудейской гробницы — того не знает аист. Он знает одно: стоя на куполе и вперившись в одну точку, позой своей соперничать с соколом, который, гордо изогнув шею, восседает на руке феодала.

В городе там и сям — остатки прошлого. Старая мечеть. Осколок старого базара. Надгробные плиты. Ру-

лишь поэзией, я бы даже сказал исключительной поэзией, каковой является подобный вид этического искусства. И какое пламя исходит из всех этих картин! Некоторые страницы так и хочется вырезать и выделить в строфы стихотворений, каковыми они, собственно говоря, и являются; некоторые главы словно рассказаны сказителями, которые иногда еще появляются по ночам на базарах слишком цивилизованного Востока. Каждая страница романа полна ярких, напоминающих баллады, пассажей необычайной, неизвестной нам красоты, и, хотя сердцу нелегко определить, кому оно обязано этим экзотическим, будто розовое масло и гашиш, дурманящим ароматам: писателю Робакидзе или самой Грузии, оно охотно дает себя пленить этой новой для него экзотике. Мир моих представлений стал богаче благодаря этой книге, мир экзотиче-

ины башен. Письмена «куффик» на каждом углу. Цилиндрические камни с персепольскими фигурами и надписями. Древние монеты — сасанидские или ахеменидские или еще какие-то. Остатков множество. И все же — путешественник удивлен. Сколько раз плуг истории прошелся по земле Экбатаны! По сравнению с этой «пахотой» остатков маловато. Но удивительно и то, что скудость остатков — или попросту отсутствие их — еще более усугубляет древность Хамадана. Бывает местность без характера. Словно бы еще не обретшая характер. Словно бы только что открывшая глаза на свет. Но бывает местность — сплошной характер. История оставляет там свой запах, напитав им почву. Хамадан — характер до последнего камешка. Здесь глаз созерцает тени минувшего. Но глаз осторожен: чтобы не спугнуть эти тени. Здесь даже пласт земли излучает запах прошлого. Лишь по запаху и возможно ощутить прошлое. Иначе его не воспримешь. Ушедшее может вернуть лишь ощущение его аромата... На первый взгляд — глинобитные дома и узкие улицы. Но — как знать: быть может, глина и есть выражение почтения перед временем (время все разрушает, глина разрушается сама). Теснота, быть может, выражает страх перед пространством: строения стоят скученно. Все, казалось бы, одного цвета: золы или пепла, в зависимости от того, в каком настроении солнце. И все — малое и большое — покорно судьбе. Лишь тут и там вдруг вскинутся ме-

ского счастливым для меня образом приблизился и осветился, душе моей теперь доступен незнакомый мне доселе вид эпической поэзии: Ташкент и Тифлис, мир караванов и базаров еще обольстительнее манит мою фантазию в свете утренней и вечерней зари с тех пор, как я прочел эту необычную, ни к какой категории не относящуюся книгу, с триумфом свидетельствующую о том, что миф продолжает жить в искусстве вопреки нашему материализованному миру, с каждым днем все больше знающему и все более тяготеющему к науке.

Стефан ЦВЕЙГ

1928 г.

Перевод с немецкого С. ОКРОПИРИДЗЕ

чети — как веснушчатые женщины на ходулях, которые молят полную луну о плодородии. И в воздухе — слова, будто сами собой рождающиеся: ла илах илла аллах...

Улицы. Извилистые. Переплетающиеся. Узкие. С одной стороны можно просто перепрыгнуть на противоположную. Из одного дома — в другой. Суета. Людская масса — как муравьи из разных муравейников. Мужчины всюду — в шапках, подобных половине круглой тыквы. Шапки и в зной — на лысых или полулысых головах. Лица — маски прошлого. Далекого прошлого. Глаза глядят из недосыгаемой дали. Безошибочный признак древней расы. Смотришь на человека, а он будто где-то, далеко-далеко. Необходимо долгое время, долгое ожидание, чтобы взор персиянина приблизился к тебе. Кое-где, по углам, мелькают и семитские профили. Евреяне... И их взор выходит из глубин прошлого. Но чуть улыбаются влажные глаза и как бы скрадывают эту глубину. Есть что-то таинственное в лице евреянина: ирония в глазах — и на губах печаль. Глаза будто говорят: я — знаю, но ты не знаешь тайну. Губы шепчут: храни тебя Бог от моей участи. Он отвернется и пойдет прочь. Ты проводишь его взглядом. И запомнятся: морщинистые и желтоватые увядшие уши. Это там, где евреев мало — как в Хамадане. Попадаются здесь и армяне. Покатые лбы отмечены печатью страшного упорства. Угловатость движений говорит о кряжистости характера. Твердое дерево, крепкое, но согнутое и искривленное.

Пыль и грязь — повсюду. Однако не следует думать, будто персиянин любит пыль или грязь. Нет, скорее персиянин знает, что в конце концов все обратится в пыль. С конечной ипостасью мира надо обращаться почтительно. Может, персиянин знает, что вода унесет грязь и уничтожит без следа. Вскормленному сосцами пустынных холмов, ему и вправду ведома тайна воды. Он восславляет воду: она всемогуща. Грязь, брошенная в ручей или растворившаяся в нем, на расстоянии десяти алаби — уже не грязь: она очищена водой. Так думает персиянин. Посреди Хамадана бежит кристальная горная река. Река уносит городскую грязь. Хамадан не боится грязи.

На каждом углу — кофейни, полные людей. Тонкие пальцы — и четки: янтарные, гишерные. Всюду гашиш. Один курит — и передает трубку другому. Другой курит — и передает третьему. Третий — четвертому. Четвертый — пятому. Пятый — шестому. Шестой — седьмому. И так до тех пор, пока трубка не вернется к первому курильщику. Тогда замыкается магический круг. Здесь с открытыми глазами ловят видения. Здесь сокрыта тайна со-бытия — или единства — Востока. Здесь нет места отчуждению либо брезгливости: единая трубка для всех уст. Один переходит в другого и через других возвращается к себе. Магическая сила раскрытия — или освобождения — в единении многих. Витают пестрые видения. Кто-то начинает рассказывать героическую историю: «В один из дней встал Рустан и пришел к Зорабу...» Другой продолжает. Третий стихами вспоминает Саади. Четвертый говорит — рассыпает розы Шираза. Пятый заливается испаганским соловьем. Так до поры, пока опьянение еще подвластно словам. Но невидимый зверь его уже потягивается и порыкивает.

В стороне появляется некто — в лохмотьях, с разинутым ртом, нечесанные волосы всклокочены. На губах — пена. В глазах — лихорадочный блеск. Голова мелко трясется. Это дервиш. Он смотрит на всех и не видит никого. Будто видит невидимого и ждет его знака. Нависает тишина невыносимая. Внезапно дервиш вскидывается и разражается ужасающим воплем. Вопль оборачивается иступленной пляской. Пространство, пестрящее видениями, теперь наполняется странными словами. Не понять, что вещают они. Все перемешивается и обращается дневной фантасмой. В это время появляется белый навьюченный осел. Высокий, ростом с лошадь. Знаменитый хамаданский осел. За ним шествует парень и кричит: «пенир! пенир!»¹. Пестрые видения исчезают. Белый высокий осел со стоической степенностью проходит вниз. Все отрезвляются. В стороне гадалка зазывает прохожих.

Лавки. Ларьки — точно лари. Горы изюма. Оливки. Фундук. Грецкий орех. Рис. Фисташки сырые и фисташки жареные. Ткани — несть числа. Парча разная. Шел-

¹ Сыр (перс.).

ка. Кашемир. Различнейших цветов и оттенков... ^Ста-
каны. Чаши. Кувшины. Медные сосуды для воды —
тунги. Изукрашенные чеканным орнаментом. Бесконеч-
ное множество, разнообразие... Позумент. ^Медальоны.
Завораживающие глаз... Ковры. Ковры. Ковры на стен-
ные. На коврах — хамаданский «нумуд». Паласы. Ци-
новки. Разнообразные, всякие. Хорасанские клинки. Ме-
чи Шах-Аббаса. Палаши, сабли. Стрелы и луки. Сед-
ла. Сбруя. Ремни. Тесьма. Галуны. Амулеты. В углу —
миниатюра. Тут же — Коран в узорчатом сафьяновом
переплете. Рядом — драгоценные камни всевозможные:
рубин, бирюза, янтарь, яшма, изумруд, лал. Клетка, и
в ней — соловей, то ли кенарь. Тысячи и тысячи раз-
личнейших предметов — вперемешку. И вдруг — жен-
щина, до пят закутанная в зеленое покрывало. На го-
лове — плат цвета шафрана с легкими пестрыми раз-
водами. На ногах — зеленые коши с красно-рыжими
каблуками. Чадра слегка откинута, будто ненароком,
и — лицо: мягкий мрамор с оттенком слоновой кости.
Быстрый мимолетный взгляд и — глаза: большие, мин-
далевидные. Глаза — влажные индийские изумруды
темной воды. Движения стройного стана колеблют по-
крывало, и искушенный глаз различает точеные формы
танагрской статуэтки. Невольно устремляешься вслед
за красавицей — но виденье исчезает, как сон, раство-
ряется в мельтешащей толпе. И вспоминается — «Ты-
сяча и одна ночь». И продолженье — той же ночи...

... ..

К югу от Мюселлаха — большой каменный лев ры-
жий: из известняка и песка. В извести — жар солнца,
и в песке — семена солнца. Каменный лев — щит го-
рода. Из голых теснин Персии, где распаленное солнце
утоляет порой свою страсть, львиный рык низвергается
в задыхающиеся от зноя ущелья и гневный гул лави-
ной обрушивается на просторы, взрывая опасную тиши-
ну. Есть в этом грохоте какая-то странная своеобыч-
ность: несокрушимая, величавая. Каменный лев — меч
Хамадана. В пору большого полдня, когда предметы
теряют свои тени, к каменному льву приходит недуж-
ный: бесплодный или пораженный сифилисом. Бесплод-
ный извлекает фаллос перед пыщущим жаром камнем

и молит льва даровать ему семя. Сифилитик прикладывает фаллос к раскаленному солнцем камню и ждет исцеления от каменного зверя. На горячий песок падают таинственные заклинания — Бог весть, на каком языке...

Возле каменного льва сидит чужеземец.

Он — не недужный. Не страдаемый сифилисом, не томимый бесплодием. И сейчас — не пора большого полудня, когда предметы теряют свои тени. Ночь, озаренная луной. Лето 1917 года. Предметы не утрачивают своей тени — колдовской свет луны сам обращается в тени. Рождается иной лик мира — безыменный — бесплотный — неосязаемый. Чужеземец — кто он? Не персиянин и не осман, не индус, не евреянин, не славянин и не француз — и не германец. И не грузин?.. Он смахивает на англичанина. Да и то лишь на первый взгляд. Возле каменного льва сидит чужеземец, и фигура его сливается с лунными фантомами. Подле него — белый солнцезащитный шлем. Светлое лицо с правильными чертами словно соперничает с лунным профилем. Чужеземец созерцает окрестности Хамадана и, зачарованный, отдается воспоминаниям. Ведь и сам Хамадан — одно лишь воспоминание.

Он вспоминает:

597-465
148-331

Две тысячи лет назад Александр на своем Буцефале ураганом ворвался в твердыню Экбатаны. Одним ударом взял древний город — точно царицу, которую жаждал тысячи лет. Победил непобедимых Ахеменидов и сам стал Ахеменидом. В сверканьи и блеске мечей отпраздновал свадьбу с царицей и привязал этот бешеный, сокрушавший все преграды пир к обезумевшим копытам необъезженного коня. По желтым склонам Экбатаны «Двурогий» раскинул бесчисленные шатры, и в каждый шатер закинул сорванную с неба звезду. Великий словно оскопил солнце мечом и багряными ручьями, хлынувшими из его лона, наполнил азарпеша жаждающих воинов. Десяти тысячам воинов дал в жены десять тысяч малоазийских рабынь. В одну ночь справил эту свадьбу. Никогда еще ночь не была так безумна. Возможен ли большой пафос? Было разрушение и опьянение. Было величие и торжество. Той ночью в Экбатане мужское покинуло границы мужского. В Ливий-

ском храме «Двурогого» объявили сыном Амуна-Ра. Может, в ознаменование той ночи.

Чужестранец вспоминает и другое: будто похожее. Существует преданье, столь же жгучее. Столетия назад Солейман Блистательный¹ (или Мохаммед Завоеватель? Но гиды предпочитают Солеймана. Наверное, из-за благозвучия гласных) — столетия назад Солейман Блистательный направил вспененного коня в константинопольский храм Айя-София. Обезумевший конь заметался в левнафановом чреве святого храма и, взвившись на дыбы, передними копытами стал биться о мощную колонну. Отпрянул, утолив ярость, — и из белой колонны с огненных следов копыт ручьем брызнула кровь. Так гласит легенда. На той колонне и ныне багровеет кровавое клеймо—след копыта. Чужеземцу вспоминается копыто коня Солеймана Блистательного и вспыхивает мысль: вторжение Александра Великого в Экбатану — как вторжение Солеймана Блистательного в Айя-Софию. Сама Экбатана — след коня Солеймана, кровавым клеймом отпечатавшийся на высокой колонне храма. Есть в этом некое странное безумие. Ужасающая жестокость—и острейшее наслаждение. Страсть—и ярость преодоления. Мужеское и вправду разрушает здесь границы мужественного. И теперь вот: Хамадан — след подковы Буцефала Александра Великого. Кровавый — желтый — ржавый — слегка замшелый. И все же — солнечный. Хамадан — след обезумевшего копыта. Каменный рыжий лев — пылающий солнцем щит Хамадана.

... ..

Чужеземец шевельнулся. Издалека — топот коней. Чужеземец видит: группа всадников мчит к городу. Впереди старик, лет за шестьдесят. Живые зоркие глаза, острая, как алмаз, мысль. Синеватой ткани длинная накидка, подобно крыльям, развеивается за спиной. На голове — белая чалма. Эмир Авган — со слугами и стражами. Наверное, спешит к губернатору Хамадана, чтобы высказать ему упрек. В свете луны кортеж стелется по земле, как некое феерическое видение. Не вос-

¹ Султаны Турции XV—XVI в.в.

поминание ли об Александре Великом мучает феодала? Но что знает феодал о преодолении Македонца! Феодал не знает, что народы Европы схватились друг с другом в смертельной схватке. Разве знает феодал о том, что с севера доносится гул революции? О Петербурге он, наверное, и не слышал. Город, который сифилитическая одержимость Петра Великого заставила подняться из финских озер. Город, превращенный в остров Патмос эпилепсией Достоевского. Город... Этот город ничего не говорит феодалу. Эмир Авган и Апокалипсис — где встретятся они! А в трех милях отсюда, в Шеве-рино — русский штаб, удрученный тяжелым предчувствием. Генерал Н. Н. Баратов — то ли осетин, то ли казак, то ли и осетин, и казак вместе, — малорослый человек с маленькими умными глазками, выраженный в черкесское платье, мучим одной лишь заботой: а что, если рухнет великая русская империя? И в тайных мыслях своих изыскивает пути...

... ..

Приходит трезвость действительности. Проступает жестокость народов. Чужеземец оглядывается по сторонам. Куда-то исчезла тень Александра Великого. Рыжий лев — просто камень, состоящий из песчаника и известняка. Хамадан — глинозем и грязный город.

Арчибальд Мекеш возвращается домой. Внезапно вспоминается обломок камня цвета ящерицы, увиденный вчера. Странные слова, высеченные на камне, клеймят мозг:

Брата моего небывшего
как любить мне
больше солнца
и больше меча, —
ибо был он
двойник мой.

ПОЗВОНОЧНИК С ПРОСТРЕЛОМ

Некто идет лесом. Наступает на странную траву. Вмиг затуманивается у него разум. Он продолжает путь. Мнится ему, что идет обратно. Он теряет направление.

Снимает с себя одежду. Выворачивает ее. Одевает на выворот. Приходит в себя. Вновь находит направление. Продолжает путь.

...Существует такое вот предание.

Арчибальд Мекеш лежит. Пока еще ночь. У луны исесякают фантазмы. Но Арчибальд не спит. Вернее — или лучше — так: в полусне его сознание ступило на грань яви. Он знает, где находится. Не знает только направления. Он взбудоражен, взвинчен, раздражен. Сбил-ся с дороги, что ли, как если б наступил на ту колдовскую траву. Может, встрети-лась она, трава эта, когда он вместе с русским отрядом казака Палия следовал из Багдада в Хамадан. Или сам этот путь, «Багдад—Хамадан», и есть колдовская трава! Ни туда, ни сюда. Ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз. Восприятие личности опутано сетью фантастического паука. Конечно-сти изменяют, и опорное колено не держит. Личность распадается: надвое, натрое, на четыре, на пять. Но чаще — на две. Одна в стороне от другой. Одна взирает на действия другой, созерцает, другая действует. Арчибальд Мекеш наблюдает за Арчибальдом Мекешом. Закрадывается страх: одолевает то одного, то другого.

Вспоминается Арчибальду слышанное однажды: некто отдыхает среди скирд. Солнце печет нещадно. Оцепеневшая лошадь стоит подле. Внезапно сидящий замечает кого-то — который тоже сидит возле скирды. И подле него стоит оцепеневшая лошадь. Вскрикивает несчастный, узнает своего двойника. Срывается с места. Вскакивает в седло. Мчит коня. Слышит топот копыт. Его ли коня этот топот — или?.. Ага, и позади — тоже топот. Верно, двойник скачет за ним. Страх поро-рабощает его. Лошадь тоже обезумела.

...На дороге находят его, на земле, в полусознании. И на губах его — пена...

Арчибальд Мекеш встает. Выходит на балкон. Гля-дит на Хамадан. Луна продолжает рассыпать фантаз-мы. Правда, уже с меньшей силой. Хотя грань, разде-ляющая видения и явь, еще резче, жестче, Арчибальд Ме-кеш боится увидеть над Хамаданом своего двойника. Он вбегает в комнату. Бросается на постель. Погружа-ется в забытье. Сознание, истончившееся, как игла, пронизывает даль — далекую, далекую. Уходит, почти

исчезает. Но игла созерцает самое себя. Арчибальд Мекеш созерцает себя — в далеком далеке.



... ..

Арчибальд Мекеш — художник. В 1914 году парижский салон принимает его картину. Полотно невелико. Простой ландшафт. Долина, выжженная зноем. Широкая белая река. На берегу — много черных быков. Истомленные жаждой, быки жадно пьют. Головы приподняты кверху — быки проглатывают последние глотки. А глазам их видится странное: призрак или призраки, пролетающие над рекой, как бы видения иного мира. Удивительны их взоры. Рисунок привлекает внимание. Краски размягчены предельно. Белый, переходящий в голубиный, сизый. Черный — словно черный гишер в прозрачной воде. Красный — как зерна граната, пронизанные солнцем, композиция — как скрученный дуб. Фактура — земля первозданная. Репродукция картины печатается в журнале. И — портрет автора. Картина привлекает внимание. Портрет автора — тоже. Лицо спокойное. Глаза серые с голубизной. Нос — прямой, лишь посреди — орлиная горбинка. Волосы черные, расчесанные на пробор. Во всем облике — удивительное спокойствие. Но под конец понимаешь: за этим спокойствием — необыкновенная страстность.

Арчибальд Мекеш получает приглашение от американского миллиардера. Фергюс Уорвоор — странный человек. У него вилла на побережье Средиземного моря. В его натуре дремлет сплин. Каждое лето он приглашает к себе знаменитых личностей со всех уголков Европы. Создает для них особый мир. Живет этим созданным миром. Развлекается: от времени до времени убивает сплин. И думает: вероятно, Господь Бог сотворил мир для того лишь, чтобы его, Уорвоора, одолевал сплин. Фергюс Уорвоор яростно убивает сплин — пока сплин не убьет его самого. Умирая, Фергюс Уорвоор непременно убедится в том, что и Бог умирает вместе с ним.

Арчибальд Мекеш — в числе приглашенных. Избранных — до ста пятидесяти человек. Художники. Музыканты. Артисты. Поэты. Певцы. Исполнители. Философы — но лишь те из них, кто умеет мыслить особо и

жизнь особым стилем. Романисты. Последователи лорда Гэрри из «Дориана Грэя». Дамы и куртизанки. Последнее — тина Манон Леско. По национальности — англичанки, француженки, немки, итальянки, испанки, норвежки, датчанки, шведки, голландки, шотландки, русские, польки, гречанки, румынки. Множество других. Профили всевозможные: от древнеримских до современных еврейских. Встречаются и хеттские, и египетские. Кочетские. Финикийские. Народы умирают — профили остаются.

Вилла построена в артистическом вкусе. Камень — гранит. Прочность скалы. Множество залов — белый, желтый, красный. В середине — концертный. До трехсот жилых комнат. Для каждого гостя — три комнаты: спальня, рабочая комната, туалетная. Полный комфорт. Потоки электричества. Вода — неиссякаемая. Бассейны. В конюшнях — лошади английской и арабской пород. Экипажи. Автомобили. Коляски (двадцать пять). Пять аэропланов. Три парохода. Вокруг виллы — цветущие сады с редкостными цветами и растениями площадью в десять квадратных верст. Аллеи, клумбы различных стилей. Площадка, залитая асфальтом — для игры в лаун-теннис. Оркестр струнный из ста пятидесяти человек. Музыканты — все негры, кроме дирижера. Развлечения и пиры. Премированные повара. Блюда соперничают с древнеримскими. Всевозможные напитки: токай, херес, шампанское знаменитых фирм. Различные коньяки. Шартрез. Шерри-брэнди. Коктейли. В саду — высокие башенки, окруженные балконами. Роскошнейшие виды на море. Уединенные уголки. Множество разных разностей — плоды безудержной фантазии Фергюса Уорвоора.

Фергюс Уорвоор доволен созданием такого рая. Теперь понимает он слова Бога, произносимые после каждого дня творения: «Это хорошо». Желтоватое лицо, никогда не знавшее бороды, улыбается, все в морщинах. Сухоощавая фигура исполнена удовлетворения. В маленьких умных глазах чуть заметно искрится гордость. Фергюса Уорвоора заботит лишь одно: что он не может всю эту виллу со всем ее убранством, со всеми ее окрестностями, со всеми ее обитателями перенести на морскую поверхность и превратить ее в плавучий

остров. Но сухощавый американец, желтолицый и безбородый, все-таки доволен: тем, что создал мир для выведения новой расы. Фергюс Уорвоор убежден: в этом уголке встретятся друг с другом разум всепонимающий — интуиция, угадывающая потаенное; Эрос — рождающий восторг и упоение: тело, жаждущее другого тела — желание, разрушающее границы.

Фергюс Уорвоор не читал Фридриха Ницше. Да и зачем ему Ницше! Фергюс Уорвоор полагает, что он создает почву для явления сверхчеловека. Сам он при этом держится в стороне. Издали искоса поглядывает на группы гостей. Лишь изредка присоединится к ним, как одинокая звезда. На его лице, неизменно сохраняющем одно и то же выражение, похожем скорее на мумию фараона, лишь изредка можно заметить ироническую улыбку. И то слабую. Печаль умирает прежде, чем достигнет его лица. Воля Фергюса Уорвоора выкована американским упорством.

... ..

К концу июля зной распалается. Пир устроен в тени. Фергюс Уорвоор празднует день рождения. Торжество длится три дня. Застолье — словно оркестр, поющее тело которого, как острым ножом, рассекает порой то стан красавицы, которая суть лишь пена шампанского, то само шампанское, которое суть лишь взорвавшаяся жажда прекрасного стана, то изящную фразу, которая — чеканный сонет, то обжигающий взор, встречающий взор ответный, глаза в глаза — призрачный круг, замыкающий в себе пары. Застолье словно оркестр. Но и оркестр настоящий услаждает слух пирующих. Танцы. Пение. Выступления солистов — музыкантов, певцов. Стихи поэтов. Тосты, тосты — и повсюду имя — «Фергюс Уорвоор!» Сухопарый американец оживляется: желтизна обращается блеклой белизной, безбородость — как бы свежесбритостью. Фергюс Уорвоор становится открытым. Монокль носит с изяществом. Улыбка обновляет его губы. Фрак ловко сидит на фигуре. На белоснежной сорочке сверкает бриллиант величиной с орешек. И сам он сверкает, словно бриллиант.

Оркестр изощряется. На внутреннем своде эстрады натянуто полотно для кино. Пирующие не забывают и

о несчастной планете Земля. По полотну пробегают то боксер, то тенор. То кокотка, то леди. То депутат. То президент, то кайзер. То преступник, то манекен. Пирующим интересны и события. И на том же полотне возникают радиодепеши. В Китае то-то... В Германии то-то... Хроника... хроника: метафизические детали планеты. Остановка — и снова: сонеты, песни, пируэты... тосты... последние — самые многочисленные и самые надоедливые, нудные.


Один только тост ловит слух... «человек создан... но он сам создает мир» (Фергюс Уорвоор высоко поднимает голову: видно, говорят о нем). «Этот творец — дух человеческий»... (Фергюс Уорвоор не может разобраться... «Дух создает и соединяет»... (...«Дух создает и объединяет»...)) Фергюс Уорвоор опасается, как бы флегма не одолела его. «Дух — это нерв планеты Земля» (при упоминании планеты Фергюс Уорвоор наостряет уши — ведь это он повелитель планеты)... «Мы сотворим новый дух»... (Фергюс Уорвоор слышит только три первых слова, из которых второе заставляет его безволосые брови вскинуться... «Мы создаем новую расу»... «Мы...») И Фергюс Уорвоор внезапно взглядывает на полотно экрана. Другие тоже. На экране: «Эрцгерцога Франца Фердинанда убил в Сараево сербский принц...»

При апоплексическом ударе у человека закрывается один глаз и сворачивается набок нижняя челюсть; одна половина тела утрачивает жизненные силы. У пира тоже исказилась челюсть и закрылся один глаз. Одна половина пира — левая или правая — утрачивает жизнь. Фергюс Уорвоор читает на полотне — как древний Навуходносор прочел на стене: «Манэ тэкел фарес» — и сникает, опадает...

... ..

Арчибальд Мекеш содрогнулся как от укуса змеи: древневавилонские магические слова пулями пронзают слух. Это не «вспоминается», это происходит сейчас. Вавилон близко от Хамадана. Он чувствует, как покрывается холодным потом.

Три дня спустя вилла на берегу Средиземного моря необитаема. Фергюс Уорвоор — сухощавый американец, безбородый и желтокожий, похожий на гриб-дожде-



вик, снова охвачен сплином. Он бредет по пустой аллее. Прежде Фергюса Уорвоора заботило лишь одно: что всю эту виллу со всем ее убранством, со всеми ее гостями, со всеми ее окрестностями он не может закинуть, как сеть, в море и превратить ее в некий плавучий остров. Фергюс Уорвоор чувствует сейчас, что это желание его осуществилось нехорошо: виллу подхватило нечто и швырнуло в необитаемость, в пустоту, как некий балласт. Гости куда-то подевались — или унесли ноги, спасаясь. Остался он сам — один на один со своим закадычным сплином. Фергюс Уорвоор ползет по аллее, как гусеница. «Скука начало всего». Во рту — соленость. В голове — затуманенность. В ушах — комариный писк. На дереве — цикада. Море — олово. Цвета золь. Тишина — лишь удушье. Скука — одна лишь скука.

Фергюс Уорвоор прибавляет шаг. В конце аллеи кто-то сидит. Американец чувствует незнакомую радость. Незнакомец сидит, упираясь локтями в колени. Дума далекая... далекая... Фергюс Уорвоор приближается.

— Мсье Арчибальд Мекеш...

— Сэр Фергюс Уорвоор!..

— Вы здесь...

— Я остался...

— Вы один...

— Я один...

— Все разбрелись...

— Их позвали корни...

— А вы?

— У меня нет корней...

Фергюс Уорвоор удивлен. Удивление придает краску сухощавому лицу американца. У всех есть корни. И у него есть корни. Если позовет Америка — он пойдет на ее зов. Впрочем, заберет с собой и сплин — или сам последует за ним. А этот художник — без корней?! Уорвоор видит — лицо у него изменилось. Лоб нахмурен. Глаза устремлены куда-то вдаль. Губы недвижны. Уорвоор радуется: наверное, и этого молодого человека одолел сплин.

— Мсье Мекеш! Не думаете ли вы сейчас, что хитроумный еврей был прав: «Скука — источник всего»? Я думаю, это верно сказано.

— Возможно...

- Вы не в духе...
- Возможно...
- Скука... скука...
- Нет: скорее печаль... тоска...
-



У Арчибальда Мекеша сжимается сердце. Не Хамадан ли его сжимает?.. Он встает. Выходит на балкон. Хамадан спит, как висячие сады Семирамиды... Все лишь призрак — тень — видение. Может, и я сам. Но видение не имеет крови. А мое сердце трепещет, как птица, пронзенная стрелой... Он возвращается. Снова постель и снова сон с открытыми глазами... За дверью рычит во сне дог Аллан. Смотрит сон, что ли. Хамадан сновидец — полон снов. А может быть, и он не спит. Или: если и спит — наполовину. Может, и он грустит и вспоминает — где его корни... Снова дрема охватывает Мекеша. Арчибальд Мекеш номер два снова выходит на сцену. Мекеш номер один наблюдает за ним из своих снов.

...

Три года — невыносимых. Зов с виллы — «новая раса» — где-то далеко, далеко — будто придуманный. Сейчас другой пароль: «гений латинян» — «идея славян» — «германский дух» — «британское владычество», — пароль упорядочивания — или примирения — или мира. Много и других. А вместе с тем — кровь, убийства, голод. Отрезанные ноги, похороненные отдельно. Плач отрезанных ног, когда приделывают механические. Грусть их, похороненная вместе с отрезанными. Смерть плода. Оплакивание груди матерями. Потеря брата. Гибель отца. Исчезновение друга. Прощание воинов перед окопами. Ослепление одного глаза и оплакивание его вторым глазом. Сирые слезы осиротевшего. Возвращение ослепшего к невесте. Плач невесты и углубление безнадежности от ее плача. Далекий стол на далеком вокзале — где ожидают писем. От одного письмо не пришло — или уже не придет. И от второго. И от третьего. И крики, крики: матери — сестры — отца. Список убитых. Список раненых. Чтение списков, напечатанных в газетах: в управлении графства или в сель-

ской канцелярии. Поиски знакомой фамилии или имени. Животное чувство: «хотя бы не было моего... другой» — это другое, а у меня, для меня он — единственный». Озверение и равнодушие. И много другого, много всякого...

У Арчибальда Мекеша нет никого: ни матери, ни брата, ни сестры и никакого другого родственника. И ни отца?! Где он, кто знает. Мекеш — блуждающий атом — вне тела — потерянный — скитающийся — со своей печалью и тоской. Не останавливающийся ни на одном фронте. Желание затеряться — или пропасть. Просьба друга — лорду К-рту. Мекеш — корреспондент в армии генерала Томсона в Месопотамии. Встреча с отрядом казака Палия, который преодолел ужасные просторы и соединился с передовыми отрядами англичан. Просьба к тому же лорду и переход из Месопотамии в Персию с частью отряда Палия. Арчибальд Мекеш, вспоминая, уходит куда-то вдаль.

Месопотамия — Персия. Это ближайший путь. Но именно этот путь — наидлиннейший, если следовать им — по воспоминаниям. Месопотамия — колыбель человечества. Здесь сама земля глаголет об этом. Здесь будто бы все — дитя. Но сколько пройдено этим дитем. Сложны воспоминания именно детской поры: ибо эта пора — наидлиннейшая. О, как прав великий Толстой: пора от первого года до пятого длиннее, чем от пятого — до восьмидесятого. Гениальнейшая истина. Как знать — быть может, путь назад — от первого года жизни к зародышу в материнском чреве — еще длиннее. Безусловно длиннее.

У Арчибальда Мекеша нет «корней» — он здесь без «дна», без «корня». Он возвращается назад — в беспредельную даль. Все — лишь призрак. Все — праобраз, зародыш. Настроение, которого наяву не удержишь. Может и тогда, когда явь мешается с грезами. Здесь черта таинственной грани, таинственного предела. Эту черту видишь, пробуждаясь, выходя из сна. Выходя — но не выйдя вполне, еще не проснувшись. Тогда сердце начинает так биться, словно оно — пульс всего мира: не умещается в груди. Не умещается — жаждет коснуться этим биением невидимой черты, невидимой нити. Устремляется, рвется — чтобы коснуться. Но прикосновение и замирание сердца — одно: нить обрывается,

сердце останавливается. Человек вдыхает смерть, внезапно просыпается. Вскрикивает. Ему не хватает воздуха. Выбегает наружу. Сердце колотится. Там, на воздухе, печать небес осенит его и уймет волнение сердца.

Здесь именно «это» настроение. Это настроение растворено в Месопотамии. Одурманенный пласт земли. Молчаливый камень. Медленная река. Дремлющий пень. Печальный камешек. Ветка, опущенная книзу. Замерший зяблик. Нетель влажноокая... во всем — это настроение. Здесь первозданная земля: первозданная жизнь. И как таковая, жизнь близка лону — или тьме — или смерти. Нигде Арчибальд Мекеш не ощущал, не испытывал такого настроения. Настроение словно расплавленное, растворившееся от Багдада — и до Так-И-Гирима, где начинается персидская граница.

Арчибальд Мекеш идет из далекого далека, медленно погружается как бы во дни детства. Путь ужасный. Тысяча опасностей. Но путь и притягательный, как притягательна порой сама смерть. Вспоминается столь многое. Зеркало Тигра, на дне которого можно было считать камешки. Это бывает редко в желто-бурой реке. Дом Шейх-бен-Эгира. Конюшня и лошадь. Нападение. Угон семи коней. Тигриный гнев Шейх-бен-Эгира и потом — детские слезы его. Деревня прокаженных — куда отправляют всех прокаженных и откуда никто не приносит вестей: княжество заживо умерших? Высохший, корявый куст боярышника и на ветке — удавившийся прокаженный. Оставшиеся открытыми глаза самоубийцы, в слепом взоре которых отражен весь мир, грешный и несчастный. Набег курдов ночью. Ожесточенная оборона. Ярость казаков — как ярость раненых волков. Ранение. Железное хладнокровие Арчибальда Мекеша и его девятиокий кольт. Бешеный лай Аллана. Расстрелянны все патроны кольта и — второй кольт. Натиск огромного курда с саблей наголо. Миг — и Арчибальд Мекеш упадет с отрубленной головой. Но стремительный прыжок Аллана — и курд летит в пропасть. Снова кольт и победный клич казаков, яростный лай Аллана, грохотом отдающийся в глухом гулком ущелье. Курды принимают Аллана за тигра, расцвеченного пятнами лунного света, и с воплями исчезают. Тут Арчибальда Мекеша пробирает озноб, члены его напрягаются, слов-

но наливаются металлом... Снова туман, и он засыпает с открытыми глазами.



... ..

Некто идет лесом. Наступает на странную траву. И тотчас затмевается у него разум. Мнится, что идет он назад. Продолжает идти. Теряет дорогу. Срывает с себя одежду. Выворачивает наизнанку. Одевает на выворот. Приходит в себя. Находит дорогу. Продолжает путь. Есть такое предание.

Арчибальд Мекеш лежит. Все еще ночь. Луна склоняется к закату. Призраки скоро исчезнут. Арчибальд Мекеш не спит. Или лучше так: в полусне сознание его бодрствует. Он знает, где находится. Но не знает дороги. Он взбудоражен. Раздражен. Наступил на странную траву, что ли, и переменялось его настроение? От Багдада до Хамадана много такой травы. Или сам этот путь,—Багдад—Хамадан,— и есть колдовская трава?.. Ни туда, ни сюда. Ни вперед, ни назад. Ни вверх, ни вниз. Блуждающий атом: потерянный. Вывернуть одежду?! Одежда снята. Да и куда выворачивать? Может, выворачивание — то же поворачивание?..

Мекеш ищет самого себя. Не находит корней. Ни брата, ни сестры, ни матери и никакого другого родственника. И ни отца?! При мысли об отце он подносит к груди правую руку. На шее у него висит крошечный узелок цвета шафрана. Это не крест. И не образок. Не ладанка. В узелке — отцовский медальон... Бывает, порой промывают ручей. Пустеет его русло. А где-то в уголке бьет сверкающей струйкой исток ручейка. Русло ручейка расширяется: наполняется его высохшее лоно... Сердце Арчибальда Мекеша наполняется, как лоно пересохшего ручья. Он встает. Хочет при луне поглядеть на любимое лицо. Идет к двери на балкон. И вдруг в дверях перед ним — некто высокого роста. Открытый лоб. Глаза цвета меда. Борода с проседью. Твердый подбородок. Орлиный нос. В глазах — спокойствие... спокойствие... до ярости. Он улыбается юноше... «Отец!» — вскрикивает Арчибальд. Обнимает его. Но в объятиях — лишь тень. «Отец!» — кричит Арчибальд. Аллан вскакивает. Озирается по сторонам. Врага не видно. Мощными лапами обнимает Арчибальда за шею.

Арчибальд плачет. Огромный дог с узорно-белыми и желтоватыми пятнами на аспидного цвета теле ласкается к нему. Глаза у дога — один серый, другой желтый. Арчибальд плачет. Аллан ластится к нему.


Над Хамаданом — сизоокий рассвет.

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ

Мчится из Хамадана «форд». Шофер, как мускулистый жокей, сросся с автомобилем. Головные уборы образуют белую линию: один — английский белый шлем солнцезащитный и второй — чалма персидская — или восточная. Одному из путников положил на колени голову огромный дог. Дорога идет на север. После станции Ахбулах расстилается низменность — деревни, деревни по ней. Ущелье двух рек: Карасу и Дарагазан. Близ низких гор Кулебада пролегает граница Хамадана и Хамзэ. Возле деревеньки Рамазан дорога идет берегом небольшой реки. Переезжают мост. Чуть дальше, на левом берегу реки, бьет холодный ключ: серно-известково-железный. После Рамазана подъем постепенно возрастает. От станции Маниан — где нынче опорный пункт «Союза городов» — подъем окончательно набирает силу и вдоль глубокого ущелья карабкается все круче и круче — к высокому перевалу Караган. В двух километрах от Караганского перевала — станция Султанбулах. И здесь — тоже опорный пункт.

«Форд» натуживается, чтобы преодолеть этот большой подъем. Временами вздыхает шумно, как раненый зверь. На лице шофера при этом — сомнение и недоверие. Он, шофер, знает: не родилась еще на свет женщина, которая была бы так капризна, как автомобиль. Осматриваешь его — вроде бы все в порядке. Едешь — и через несколько часов — непонятная нервозность.

Приближаются к Султанбулаху. «Форд» дышит часто: как бы сбиваясь с ритма. Шофер молчит — все поглядывает вперед, на Султанбулах. Вероятно, думает о том, как бы благополучно привести туда машину. Несколько мгновений — и «форд» с тяжким вздохом останавливается у ворот Султанбулаха.



Первым спрыгивает на землю Аллан и направляется к ограде. Затем — Арчибальд Мекеш. За ним следует мужчина в чалме. Мекеш высокого роста, но рядом с мужчиной в чалме кажется почти низким. Чалмоносец — в длинном и очень широком плаще цвета болотной травы. На ногах — желтоватые туфли без задников — коши. Он слегка сутуловат в плечах, грудь неширокая и впалая. Нос длинноват и слегка подвернут влево. Глаза глубоко сидящие: цвета серы с тусклой прозеленью. Спокойные — внимательные — пронизывающие. Лицо веснушчатое и рябое. Такое лицо и с такими глазами останавливает змею на горячем песке. Тип смешанный: то ли персиянин, то ли индус, то ли египтянин. Какого возраста — сказать трудно. Усы — словно только что отросшие. Бородка — короткая, редкая, чуть подцвеченная хной.

Шофер осматривает машину. Мекеш и чалмоносец созерцают окрестность. Хамадан отсюда — как след яростного удара бешеной подковы. Налево — горы Авеха: нагие гиганты. Мекеш пленен непривычным пейзажем. Его всегда восхищали потоки света, льющиеся сквозь листву дуба на привольные волны зеленого шелка травы. Его всегда восхищало это. И еще более этого — когда ветви дуба глядят в реку и солнечный поток, прорываясь сквозь них, пригоршнями проливается в воду, на вечно движущееся тело реки. Здесь — волшебное слияние желтого — темно-синего — облачно-свинцового. И при этом безудержное течение красок: солнечный поток — колебание листвы, шелест листвы — шум воды. Мекеш смотрит на высящиеся скалы и повсюду видит листья волшебных красок: иные — плотные и крупные, иные — нежные и миниатюрные, иные — удлинненные и поникшие. Мох и гвоздика соперничают друг с другом. Гвоздика побеждает. Аспид и квакша древесная борются. Побеждает квакша, которую расцветчивает пестрота хвоста сказочного павлина (разной насыщенности)...

— Теперь я понимаю, что создало персидский ковер...

— Это лишь преддверие... Впереди Казвин!..

Шофер заканчивает ремонт. Мекеш и чалмоносец глядят на горы. Внезапно взлаивает Аллан. Мимо про-

езжает автомобиль «Союза городов». Мекеш успевает заметить сестру милосердия и — точно очутившись на краю пропасти — вздрагивает всем телом. «Глаза цвета ящерицы!» Неужели?! Нет... Откуда они здесь!

— Что с вами?

— Я увидел такие краски, что...

— Вон там, на склоне той горы, глядите... кизил, пролившийся на поблескивающее тело дракона...

— Поразительно!..

Автомобиль готов. От Султанбулаха дорога спускается в ущелье, по дну которого бежит горная речушка. Вправо от речушки с северо-запада на юго-восток протянулась цепь рассеченных скал — точно хребет преисторического мамонта. Приближаются к станции Авех. Здесь стоял русский штаб, когда Хамаданом владели турки. Река Авех летом почти пересыхает. Печаль опустевших грудей — эта истощившаяся река. Или выхлебал ее солнечный дракон-кровопийца?.. Громадные каменные глыбы в двухсотметровом русле. Река Авех протекает близ деревни Аббасабад и сливается с Харрудом. На берегу Харруда — горячий ключ серный — сорокаградусный. Они продолжают путь. Впереди — низменность. Деревни: Новенд — Сайфабад — Райкан — Дэхкан. Река Абгар. Мост через нее. Сады — фруктовые, виноградные. Руины.

«Форд» громко дышит. Порой всхлипывает, и тогда шофер меняется в лице. Аллан подремывает. Чалмоносец погружен в нирвану. Арчибальду Мекешу видятся глаза цвета ящерицы. Ольга... Неужто?! Да, но откуда она здесь? Когда он отводит взор от голых скал, в глазах мельтешит цвет квакши древесной. Наверное, этот цвет и затмил, затуманил его взор. Но почему так жгуче само видение?!

«Форд» всхлипывает, и шофер бледнеет. Аллан подремывает. Чалмоносец погружен в нирвану. Арчибальду Мекешу мерещатся глаза цвета ящерицы. Солнце садится. На опаленные окрестности проливается гранатовый свет. Арчибальда Мекеша пьянят удивительные просторы.

— Здесь нужен глаз Адама.

— О да! Глаз Адама!..



...

Глаза цвета ящерицы озарили станцию Маниан. Опорный пункт — точно желтый гриб на выжженной равнине. На шум автомобиля выходит одолеваемый сплином солдат. Он приближается к прибывшим и почесывает чуб. Фигура в белом стремительно выпрыгивает из автомобиля. У Жана Гужона есть картина «Диана». Женщина пристально смотрит на высокую лань. Лань словно магнетизируют глаза женщины. Она приближается к женщине, подняв голову: будто хочет жарким ртом своим запечатлеть на ее устах поцелуй зверя. Выпрыгнувшая из автомобиля женщина похожа на Диану Гужона. Длинные флорентийские ноги — два упругих потока белопенного ручья. Нет: это другое! Бедрa фигуры в белом более широкие. И еще одно. У этой, спрыгнувшей с машины, грудь высока. И на ней — две крупные розы Шираза. В старые времена гончар лепил из глины жертвенные чаши по форме грудей девственницы. Так гласит преданье. Эти груди и есть те чаши.

Солдат стоит обалдуем.

— Позови начальника! — слышит он голос женщины.

Солдат уходит.

Женщина входит в здание. Как подкошенная, падает на постель. Срывает с головы плат и бросает в сторону. Волосы — короткие и густые. Словно поток солнца, выплеснувшийся персидской хной. Лоб высокий — лоб боттичеллевских женщин. Нос слегка вздернутый. Губы сжаты, будто в гневе. Тело чуждо покоя.

Входит косматый человек. Восточный профиль. Глаза будто подернуты жиром — или слезятся жиром. Нос — морковка. На лице — темно-синие прыщи с дробинки величиной. Прыщи кое-где усохли и оставили на коже следы, как оспины. Он зеваает, но на пороге же обрывает зевок.

— Сейчас же вызовите мне по телефону уполномоченного...

— Из Казвина?!

— Из Казвина!..

— Вызову...



Косматый выходит.

Распростертая на постели женщина размышляет: определенно это был он... Но откуда он здесь взялся?! Иранское плоскогорье любит миражи... Нет, это был он!.. Почему он не остановил автомобиль?! Почему не выпрыгнул?.. Почему не бросился ей навстречу?! Женское сердце не понять и женщине... Распростертая фигура резко поднимается. Женщина встает, смотрит в окно. Нагие просторы безмолвны... Кто ей что скажет?..

Возвращается начальник.

— Через час он будет говорить с вами...

Начальник поворачивается и уходит.

Женщина идет в кухню. Там ее встречает шофер. Вымазанными в мазуте руками он сворачивает дудочкой персидский лаваш и не ест — жрет. Бог знает, кто он: грек ли из Трапезунда, армянин из Ростова или ассириец из Урмии. Глаза глядят исподлобья. Нос рассечен надвое. Низкорослый, коренастый. Глаза серые, маленькие.

— Степко! Мы должны сейчас же возвращаться обратно!

— Не могу...

— Причина?

— Устала машина...

— Ты ее взбодришь...

— И я устал...

Не родилась еще на свет женщина, которая была бы капризна, как автомобиль. И ни одна машина, которая была бы капризнее шофера, не сошла еще с конвейера автозавода.

— Степко! Ты ведь знаешь, когда я прошу...

Женщина улыбается... Разве существует на свете каприз, который бы не сломила улыбка красивой женщины!..

— Кажется, поврежден руль...

Слова Степко теперь уже лишены убедительности.

У женщины крепнет надежда и — сила.

— Ты можешь подремонтировать ее в гараже военной части...

— У меня и бензина-то нет в достатке...

— И бензин там раздобудешь... Я сама раздобуду...

Степко все еще колеблется... Он ходит по земле так неуклюже, как альбатрос по палубе.

— Машина испортится... Совсем пропадет...

— Сколько стоит «оппель»?

— Пять тысяч... или шесть... не знаю...

— Если пропадет, я оплачу ее стоимость...

Крупная сумма перешибает упрямото.

Теперь на лице Степко брезжит улыбка.

Появляется начальник.

— Он у телефона... просит вас... ждет вас...

— Значит так, Степко...

Степко вдыхает улыбку женщины, как аромат дикой розы...

Женщина убегает...

... ..

Внезапно Аллан наостряет уши. Вскрикивает. Лает. Лай грохотом отдается в ущелье. Что он учуял? Издалека слышится песня. Шофер поднимает голову. Чалмоносец выходит из нирваны. Аллан приподнимается на задних лапах. Арчибальд Мекеш замер: как насадка с цыплятами, увидевшая тень ястреба. Песня звучит громче, разносится далеко. Арчибальд Мекеш — сдерживаемый трепет. Он что-то учуял — близкое и одновременно далекое. Бывает, человек, как безумный, смотрит в зеркало. Не может глаз оторвать от своего отражения. Проходит время. Лицо кажется человеку чужим. Под конец в зеркале мелькает тень двойника. Человека охватывает страх. Кто это? Чья тень? Моя? Чужая?! И моя, и чужая. Незнакомая. Но как? Каким образом? Песня приближается и нарастает. Сердце Мекеша замирает.

Табай: У вас испортилось настроение?

Мекеш: Странная песня...

Табай: Похожа на песни гурджей.

Мекеш: На песни гурджей...

Шофер: Это грузины поют.

Мекеш: Грузины...

Мекеш хватается за дверцу «форда» — словно опасаясь вывалиться. Приходят на память слова отца: «Владей собой». Собирает силу воли. Песня наплывает волнами. Как сверкающий на солнце клинок. Аллан ла-

ет. Автомобиль приближается к деревне. Форд дышит с натугой и ускоряет ритм.

Мекеш: Откуда здесь грузины?

Шофер: Они проводят отпуск.

Табай: А-а, из конного полка?

Шофер: Путешествуют.

Мекеш: Путешествуют...

Автомобиль приближается к калитке.

Шофер: Машине необходима вода.

У Арчибальда Мекеша с плеч свалилась огромная тяжесть, и он выпрямился. Хотя сердце стало биться еще сильнее. «Форд» останавливается перед калиткой. Худощавый молодой человек приветствует Табай:

— О, Табай-хан! Пожалуйста, пожалуйста!

— Я не один.

— Тем лучше! Пожалуйста к нам!

Выходят из автомобиля.

— Мой друг, англичанин. Арчибальд Мекеш.

— Сандро Амилахори.

Тень тутовых деревьев. Длинный стол накрытый. За столом около двадцати молодых людей. Они встают. Приветствуют чалмоносца: «Пожалуйста, Табай-хан». Чалмоносец знакомит их: «Мой друг Арчибальд Мекеш. Он немножко знает русский. Немножко и персидский. А среди вас кое-кто знает и французский. Переводчик нам не нужен». Называют фамилии: Чавчавадзе. Орбелиани. Авалишвили. Морбедадзе. Макашвили... «Как?!» Чуть не вскрикнул Мекеш и побледнел. Таба-Табай, будто угадав его чувства, представил: «Макашвили». Кто-то поясняет: «сокращенно — Макаш». Макаш... Арчибальд Мекеш опирается о стол — чтобы не упасть. Он видит: молодой человек, высокий, очень черноволосый. Кожа — матовая, как пергамент. Глаза — светлые с поволокой. В движениях сквозит древняя раса — усталая. Мекеш смотрит, кажется, куда-то вдаль.

... ..

— У аппарата... да... Ольга Балашова. Сегодня я должна возвратиться... Причина? Лично... Нельзя? Вместо меня пришлите кого-нибудь другого... Лишние расходы? Я оплачу... Вы согласны! Спасибо! Большое спа-

собою... Еще две минуты... В Казвин сегодня ^{прибудет} англичанин! По Хамаданской дороге... Мой ^{дальний} родственник... Фамилия? Мекеш... Ищите повсюду... Спросите! Что потом? Скажите ему мою фамилию и имя... Больше ничего... Я надеюсь... Вы меня очень обяжете... Выезжаю сейчас же.

... ..

— Кутим! Кутим!

— Вина! Вина!

— Табай-хан, вино в Персии не годится!

— Я согласен с вами! У вас найдется грузинское...

— Да, есть... настоящее кахетинское...

— Табай-хан не пьет вина...

— С вами выпью...

Веселье. Радость. Ликование.

Шашлык на малиновых прутьях.

Чаши.

Мекеш рассматривает каждого.

Вспоминается:

На границе с Месопотамией у Шейх-бен-Эгира отняли семь лошадей. Шейх-бен-Эгир во время атаки был олицетворением гнева. И все же потерял лошадей. Кто видел его в тот момент — увидел: горечь утраты — как тугая гроздь черного винограда. Лошадей вывели из темной конюшни. Они еще не видели света. Когда лучи солнца коснулись их глаз — глаза засверкали, как пробившийся ручей. Такие глаза были, наверное, у того, первого, человека, который изобрел огонь. Тела их — натянутая тетива, горячие, порывистые. Истинно арабская порода. В повадке — веками отточенные движения. В поступи — биологически сдерживаемый ритм. Вот оно, оправдание биологии. Арчибальд Мекеш до сих пор видел оправдание биологии только в Аллане. Сейчас же перед ним и юноши: статью — как арабские кони. Именно так изысканны. Именно так полны сдерживаемой силы. Внезапно пробежала тень отца — и слезы выступили в уголках глаз.

Песня! Песня! Песня!

Поют «Мравалжамиэр» кахетинскую, которая льется, как Алазанская долина: сперва неторопливо. Потом быстрее. Потом — обжигая. Потом — выйдя из бере-



гов. И в конце — как закинутый аркан. Здесь — ку-теж мужа, победителем вернувшегося с войны. Поют «Мравалжамнэр» картлийскую, которая льется, как Картлийская долина — медленная, тихая сперва, потом — взметнувшаяся, стремительная. Потом — согбенная. И в конце — выпрямившаяся во весь рост. Здесь — оборона крепости гарнизоном. Гарнизоном, который умеет верить и который умеет выстоять. Всегда ли крепость выдержит и не сдастся нападающим? И в конце песни — легкий призыв сдержанной злости. Поют «Высокую дэлиа», — как утихающий ураган, спускающийся постепенно с Имерских гор в ущелья. Эта песня редка даже в Грузии. В ней — застолье и меч кахетинца, стойкость и щит картлийца, кольчуга и «Лиле»¹ — свана, меч и натиск хевсура. Поют. Поют — словно царицу на скрещенных мечах несут.

Арчибальду Мекешу мерещится царица с глазами цвета ящерицы. Может, это вправду была она? Нет... Откуда ей здесь взяться! Песня словно обвивает верхушку дуба — и не знаешь, приласкать его хочет или голову оторвать. Арчибальд Мекеш слушает пение под шелест листвы. Интересно: где еще он слышал эту песню? Она знакома ему. Он заглядывает в зеркало. Но не видит там корней... Далеко — в дальней дали — колышется корень личности, колышется, извивается. Что-то знакомое — и одновременно чуждое. Видение позабытое?.. Нет: наверное, это и есть корень: близкий и далекий. Внезапно мелькает тень отца. Мекеш опирается о стол, чтобы не упасть.

... ..

Солнце еще не зашло. Автомобиль мчит к Казвину. Мысли женщины уносятся вдаль — назад. 1914 год... Апрель. Лозанна. Прогулка по парку. Останавливаются перед памятником Вильгельму Теллю. Юноша охвачен страстью. Молчаливый, застенчивый. Но в молчаливости и застенчивости — столько силы и столько чувства!.. Он весь — единая страсть. Женщина вдыхает его близость. Ноздри ее расширяются, как у зверя, по-

¹ «Лиле» — древний сванский гимн солнцу.

павшего в западню. Юноша не молвит слова. Да и к чему слова? Разве сам он — не одно расплавившееся слово? Каждой мышцей, каждым вздохом — слово. Всем существом своим — слово. Женщина вся — радость. Но почему страдание на лице ее? Она и сама не знает. Чувства женщины — загадка для нее самой. Она слышит, как юноша говорит, задыхаясь:

— Я хочу сказать вам...

— Знаю без слов...

Юноша изумленно смотрит на нее.

«Султанбулах», — раздается голос шофера.

Прошлое обрывается где-то там — вдалеке. Женщина отрезвляется. Выпрыгивает из машины. Входит в здание станции. Листает книгу регистрации путешественников... Его нет. Спрашивает у дежурного. Ей говорят: «Фамилию не назвал»... Может, это был кто-то другой?.. Нет. Это был он. Несомненно он. Она идет обратно. Автомобиль мчится, натужно дыша.

Опять Лозанна... И прерывистые слова женщины:

— Знаю без слов...

Юноша смотрит, изумленный.

— Арчибальд! Вы верите в роковую встречу?

— Верю...

— Которую сама смерть не сотрет...

— Верю... Это происходит сейчас...

Женщина останавливается. Смотрит на него, как на постороннего.

Что с ней происходит? Или показалось лукавство? Нет!.. То, что раньше называли «даймон», сейчас — в плечах женщины. «Даймон» обмана... Но отчего так завлекателен соблазн обмана? Женщина борется с соблазном... Но ее борьба и есть победа соблазна. С самого начала. Нет... Поражение в борьбе с соблазном — это ее победа. У нее кружится голова. И поражение необыкновенно сладостно.

— Арчибальд! Я знаю...

— Знаете?!

— О, если бы мы встретились годом раньше...

Он стоит замерев.

Женщина словно хочет поправить сказанное:

— Нет! Что я говорю! Слова провинциальной курсистки!

— Высказанное чувство порой кажется элементарным...

Ей слышится чей-то шепот. Она говорит — будто кому-то другому:

— Была у меня такая встреча...

— И что потом?..

Заметно, как он дрожит... Женщина чувствует легкое прикосновение руки...

— Его больше нет.

— Как?!

— Убит на дуэли.

Шепот стих. Улетел ли кто... И женщина с ним улетела?.. О, как прекрасно раскачиваться над пропастью... Ее качели не оборвутся... А если и оборвутся — кто-нибудь ее подхватит...

Юноша, побледневший, смотрит в пространство...

— Авех! — раздается голос шофера...

Прошлое откатывается вдаль. Женщина отрезвляется... Выпрыгивает из машины. Входит в здание станции... Листает книгу регистрации проезжих. Его нет... Она спрашивает служащих... Отвечают — нет, не останавливался. Призрак это был, что ли!.. Но глаза цвета ящерицы не умеют ошибаться. Она возвращается. Автомобиль мчится с ревом...

И снова Лозанна... И прерванная беседа.

— Теперь вы поняли?


— Понял!

(Шум автомобиля нарастает).

... ..

Пляска! Пляска! Пляска!

В отдалении играют на сазандари. (Звук приближается). Пляшут лезгинку. Название пляски — несуразность: причем тут лезгины! Эта пляска грузинская, и кроме грузин, никто ее не спляшет. Не хватит расы. Юноша приглашает сестру милосердия, грузинку (из опорного пункта Абгерм). Сколько мужского напора и сколько девичьей застенчивости! Сколько строф поэмы любви — или страсти! Под конец — словно пленение женщины и похищение ее — срезая круг. Похищенная — но не рабыня — падает на руки юноши (разгоряченное тело — словно трепещущее сердце), вдруг рывком она выскальзывает из обруча его рук и убегает с девической



застенчивостью. Кажется, танец не кончается — обрывается. Это — печать грузинской расы, печать ее ответственности. Весь напрягшись, наблюдает Арчибальд Мекеш за танцующими (не выиграла ли и его кровь?..). Теперь танцуют «мтиулури». Ритм простой, но красота — как красота первоцвета весенних рощ. Только огонь. Только страсть. Только безумие. Радость первозданной земли. Первозданный ритм, вольный, сокрушающий все преграды для пира. Пляшут одно и то же. Только теперь пляшут представители разных родов — каждый по-своему. Один род пляшет так, второй — иначе, третий — еще по иному. Проявляется не только вся раса, но и порода каждого рода.

Арчибальд Мекеш смотрит на пляшущих — и ему вспоминается отец. Однажды отец устроил прием (что за день то был? Он не помнит). Пригласил избранных: знакомых и друзей. В тот день впервые одел черкеску. Стан — высокий и тонкий. Плечи широкие, мощные. Лоб открытый и гордый. Глаза медовые — таящие страсть. Вспоминается отец: когда он сплясал первый круг «лекури»... о, этот круг!.. Горделивость движений, тигриная поступь, отражающаяся в зеркале, которая нравится и самому тигру... Здесь лишь один из пляшущих обошел круг так... и Мекеш, задыхаясь от сдерживаемых слез, падает ничком на стол. Чалмоносец — тихим шепотом:

- Что с вами?
- Мне что-то вспомнилось...
- Давайте пройдемся...
- Пора уходить...

Они встают. Прощаются с хозяевами. Шум прерывается. Просьбы: «останьтесь»... Кто-то ласкает Аллана. Таба-Табай и Мекеш торопятся. Поднимают последний тост. Их провожают до автомобиля. Прощаются. Арчибальд Мекеш едва владеет собой.

- Прощайте! До свиданья!
- Мы еще встретимся!
- Разумеется, встретимся!

Сазандари играет провожальную. Одна группа запекает «Походную». Арчибальд Мекеш и Таба-Табай усаживаются в автомобиль. «Форд» взрывает. Арчибальд в последний раз взглядывает на Макашвили.

«Форд» мчится. Позади замирает песня — как возде-
тый клинок.



... ..

— Уже завечерело...

— Время пролетело незаметно.

— Грузинское застолье не знает времени.

— Какой красивый народ...

— Вы, верно, помните слова Шардена о красоте грузин?..

— Кажется, и Персия знала цену этой красоте...

— Ярость персов объясняется красотой грузинских женщин...

Арчибальд Мекеш задумывается. Таба-Табай вновь возвращается к грузинам.

— Грузин создан для застолья.

— Вероятно, потому он тяготеет к лени... так говорят...

— Хм, о лени грузинской много говорят, это верно...

— Да...

— Но разве лень так уж плоха? Чтобы постигать мир, необходимо мечтать. Вы ведь помните слова Уайльда...

Арчибальд Мекеш помнит многое. Но сейчас он не в состоянии ничего вспомнить.

... ..

Женщина погружена в прошлое.

Больше она не видела его. Юноша точно исчез... Почему она сказала ему неправду?! Она и сама не знает... Дурман обмана был так сладок... Может, она хотела испытать его?.. Нет, нет, она не знает... Но как горько отрезвление от чар гашиша! Она прокликает тот день. Проклинает искус... Юноша будто исчез... В Париже? В Лондоне? В Риме? В Ницце? Нигде! Потом война — и оползни... пропасти... бездны... Расставания... исчезновения... утраты... И вот теперь — на перевале Султанбулах... Нет. То было не видение. То был не призрак. Среди тысячи мужчин она узнает его. Почему она не остановила автомобиль? Почему не выпрыгнула? Почему не обняла его? Ах, разве она знает, почему. Серд-

це женщины полно неожиданностей, в нем все — нежданно.

(«Абгерм!» — раздается голос шофера...

Вновь та же сцена...

Нет, не знают...

Потом — «Зиадэхан!»... И та же сцена... Не видали...

«Султанабад»... Не знают... Не видали...)

Женщина приближается к Казвину...

... ..

«Форд» летит... Аллан подремывает. Таба-Табай глядит на восходящую луну: будто магнетизирует змею. Арчибальд Мекеш растворяется в пространстве — не видит ничего. Или слушает кого-то? На берегу реки осина. Река размывла берег и обнажила корни осины. Волна бьет о корни. Осина забывает о листьях. Забывает о ветках. Забывает о стволе. Чувства осины — в корнях, в обнаженных корнях... Арчибальд Мекеш глядит в безмолвное пространство и не видит ничего. Может, Арчибальд Мекеш ощущает обнаженные корни, когда их шевельнет принесенная волной коряга. Он словно бы стыдится наготы... точно девственница... Болят у него корни. И сладостна эта боль—значит, корни еще живы, они не совсем оторвались... Арчибальд Мекеш собирает всю волю: чтобы окровавленные корни не закричали, как разъяренные менады.

Аллан зевает. «Форд» натужно дышит. Таба-Табай глядит на беременную луну: словно взором магнетизирует змею. На Иранском плоскогорье—великий покой. Воздух чист, как кристалл на дне зеркально чистого ручья. Прохлада замшелых камней. Небо—как покрывало из индийского изумруда: покрывало безбрежное; безграничное. Звезды — как бриллианты величиной с яйцо, сердцевинки которых весело лопаются, и вся окрестность — огромная единая суть небывшего мифа, который пробуждается от глубокого сна. Срывается звезда и прочерчивает пурпурную борозду на голубином пространстве. Срывается вторая. Срывается третья. Настоящая звездная марула!¹ Велик покой Иран-

¹ Марула (груз.) — скачки.

ского плоскогорья. И этот покой взрывает разъяренный «форд». Арчибальд Мекеш шепотом обращается к феру — боится спугнуть тишину, — чтобы он вел машину помедленней. Таба-Табай глядит на беременную луну и тихо бормочет:

— Руах элохим...

— Руах элохим?

— Повсюду руах элохим... повсюду...

Он будто молится — персиянин ли, индус, египтянин... Рябое лицо обращено к луне. Арчибальд Мекеш удивленно смотрит на него.

— Вы ведь не еврей?

— Это прочувствовал лишь иудей... — Таба-Табай указывает на луну.

Арчибальд молчит. Персиянин, то ли индус, то ли иудей говорит сам с собой, произнося обрывистые фразы:

— Целое и единое...

— Целое — но не собрание единичных, а — тело единичных.

— Единичное — словно отделенное, выделенное из целого. Единичное с другими — словно растворившееся в целом...

Камень. Растение. Вода. Животное. Человек.

Все — в таком порядке и таким образом.

Одно создает другое. Другое — третье. Третье — четвертое.

И так — до окончания... пока круг не вернется к своему началу.

Страшный, опасный круг:

змея, кусающая собственный хвост.

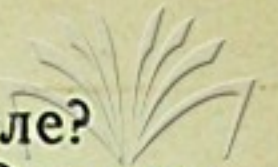
Все создают друг друга. Удивительно...

А всех? Кто создает всех?!

Один. Великий. Безыменный.

Руах элохим: дыхание безыменного...

Тишина... Упадающая звезда спешит за упавшей звездой... Аллан поднимает массивную голову и лает. Лай уносится за звездами... Звезды пропадают. И лай замирает вдали...



— Ведь «элохим» — во множественном числе?

— Вот это и странно. В том-то и дело... Элохим: 11
боги... Это больше, чем системы Европы. 318-31701333

Таба-Табай продолжает, как бы про себя:

— «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал, как один из Нас»¹. Из Нас!... Элохим.

— Но ведь всех создает «один»... А тут...

— Один... Безусловно один... Безыменный... Но каждый созданный — в создателе (мысль идет все вверх и вверх)... Каждый создатель сам — в созданном... (мысль идет ниже и ниже). Но и созданный больше создателя, и создатель больше сотворенного... То, что остается — вот странность и вот — загадка (в сознании рождается «один»)... Да: Элохим — один, и вместе с тем — множество.

— Что есть этот «один» — материя или дух?

— Это деление — аналитика Европы... «Один» — не материя и не дух... Или, вернее: и материя, и дух... Или — еще вернее: стоит над — выше этого деления, членения: по ту сторону его...

— Безыменный... Непознаваемый... Непостижимый.

— Но к чему познавать? Нужно чувствовать.

— С этой точки зрения, я думаю, все системы правильны.

— Почти что...

— И материализм?

— Думаю, да...

Молчание. Покой. Иранское плоскогорье не знает и вздоха ветерка... Аллан дремлет: он не понимает метафизики. Порой он удивленно оглядывает окрестность. Может, все же он лучше понимает «Руах элохим»? Чутье у него острее... Тишину ничто не нарушает... Глаза Аллана — как раскаленные уголья (или—звезды?). Персиянин, то ли индус, то ли египтянин беседует сам с собой — произносит обрывистые фразы.

— Производящая сила космическая:

отец и сын — едины друг в друге.

Отец — один. Сын — отец и вместе с тем — «кто-то».

¹ «Бытие», III, 22.



Отец: хребет мира.

Сын: отклонение...

Отец: необходимость... Сын: свобода...

Первый: судящий и проклинаящий...

Второй: агрессивный и ненасытный...

Всюду: в камне и в растениях...

И в этой схватке — бытие мира...

И во всех отцах: единый отец... безыменный...

Пауза... Арчибальду Мекешу трудно разобраться.

— Сложное учение... А объяснение?

— Учение не объясняется...

— А как же?..

— Ты сам должен его постигнуть...

— Но все же?

— Помните, как Иагве избрал Моисея?

— Когда Моисей из земли Маднамской шел в Египет?

— Именно... В пути его настиг Иагве и хотел убить...
Что сделала тогда жена Моисея?

— Сефора обрезала крайнюю плоть своему сыну и бросила ее Иагве...

— И что сказала при этом Сефора?

— Не помню...

— «Ты мой жених по крови»...

— А потом?

— Иагве отступил от Моисея...

— Не понимаю! Иагве — жених?!

— Знание — в этом.

— Какое знание?

— Обрезанная плоть сына возвращается к Иагве. В знак того, что он — часть Иагве. Производящая сила мужчины — сам Иагве и есть. Иагве — семя и кровь. Отец творит Иагве в сыне...

— Поразительно...

— Здесь тайна раскрыта почти полностью.

— Это учение израильтян.

— Более того — египтян... Моисей был египтянин...

Таба-Табай умолкает... как на краю пропасти: сказать еще больше — уже смертельно... Арчибальд Мекеш погружается в корни совершенно ошеломленный, растерянный. Порой мелькает странный профиль: затуманенные глаза таят страсть... На Иранском плоскогорье — иранская тишина. В тишину падает шепот Арчибальда: «отец—отец»... — Таба-Табай при этих словах шевелится и возвращается вновь к тому же:

— Да: отец... Отец — это фамилия — дальний зов — как бы оклик сзади, вдогонку сыну. Сын—отклонение, он стремится в сторону... Будто хочет избежать чего-то, уберечься от чего-то. Отец — путь мира. В нем каждый элемент возвращается к целому. Путь сына — обходящий — пробующий — разрубающий... Блажен сын, возвращающийся в лоно отца... В этом — большая радость...

— Но ведь и сын является отцом по отношению к кому-нибудь?

— Безусловно!

— Но как же тогда?

— Я и его считаю за отца... И сын является отцом кого-то! В бесконечном ряду я беру не только **этого** отца и **того** отца (он — отец с начала же!), но вообще «отца», который никогда не есть «сын» и в каждом «сыне» — суть «отец»... Руах элохим — дыхание всего сущего.

— Это туманно...

— Это потому, что на Западе не знают «отца». Там — только «сын». Да и тот — отторгнутый, в отрыве. На Востоке Гамлет невозможен: отъятый от отца... Здесь и Фауст немислим — ищущий отца... У нас «сын» сначала же — в лоне «отца». Это не укладывается в голове Канта. Слова Сефоры сильнее всего Гегеля...

... ..

Есть великая тишина Иранского плоскогорья. Воздух чист, как кристалл на дне зеркала прозрачного ручья. Прохлада замшелых камней. Небо — как покрывало из индийского изумруда: безбрежное, бесконечное. Звезды, точно бриллианты величиной с яйцо. Чьи сердцевины лопаются, ликуя. И вся окрестность — единое су-

щее из небывшего мифа, которое пробуждается от бее-
памятной дремы. Срывается одна звезда — и огненная
борозда стремительным пурпуром прочерчивает синий
простор. Срывается другая. Срывается третья. Целая
звездная марула — скачки звезд. Пурпурные борозды
исчезают во мраке и взор — их провожающий, им сле-
дующий — охватывает все пространство как незримую
вечность, чья плоть — ушами, очами, ртом — это рас-
тение, тот камень, эта звезда, та трава.

Луна убывает.

«Форд» едет медленно. Аллан подремывает. Арчи-
бальд Мекеш весь — оголенные корни: как та осина на
берегу реки. Таба-Табай молча созерцает небо: мириа-
ды звезд с мириадами глаз. Весь Иран: отраженный в
огромном зеркале огромного египетского изумруда.
Шофер тоже дремлет, что ли... Внезапно «форд» взре-
вел (будто бы руууаааххх элооххиимм) — и накренил-
ся, склонился ко рву. Первым выскочил Таба-Табай.

— Ничего... «отстранение и отклонение», — с улыб-
кой говорит до сих пор безмолвный шофер.

Аллан лает. Мекеш смеется.

— Нужно ли было доказывать сказанное... Мы —
сыновья отклоняющиеся...

— Ха-ха-ха...

Веснушчатый рябой человек рассыпает улыбку, как
лунные осколки... Мозолистые руки шофера ощупывают
карбюратор. Нет, не поврежден...

... ..

Женщина въезжает в город через Хамаданские во-
рота. Луна и тут рассыпает фантазмы... Женщина на-
правляется в пункт «Союза городов»... Расспросы... Нет,
не видали... Затем обращается в «Лигу наций»... И там
не видали... Затем «Красный Крест»... И там не знают.
Затем комендатура... И там никаких вестей!.. Не приез-
жал... Не приходил... Она чувствует себя разбитой. Едет
на квартиру. Войти в свою комнату или нет? Нет, луч-
ше избежать расспросов сестер милосердия. Она бродит
по улицам, как раненая пантера...

Бульвар в Казвине — широкая улица... По сторонам
— гигантские платаны... В лунных лучах — тысячи приз-

раков... На верхушках платанов стаи воронов... Персиянин не убивает ворона (может быть потому, что ассонанс: «корани» — «курани»¹, — подумает грузинский стихотворец. Но нет: ворон — священная птица). Стаи воронов на верхушках тысячелетних платанов... Среди лунных призраков — призраки еще более причудливые.

Женщина входит в отель. В один... в другой... Спрашивает... «Нет, такого не было»... «не приезжал»... Вороны кричат над ее головой... Это что еще за наваждение?! Послать им проклятье?... Нет, нет, ворон в Персии — неприкосновенная птица... Женщина подходит к высокому помосту — что-то вроде эстрады... Здесь персияне музыкой встречают солнце... здесь персияне музыкой провожают солнце. И завтра встретят его... и послезавтра проводят... и на следующий год и через год снова... Но что скажут эти встречи и проводы маленькому сердцу, которое, как озябшая птичка, трепещет во вздымающейся груди женщины? И что скажет восход или заход самого солнца этому маленькому сердцу?.. Все потеряно!.. Все...

Слезы подступают... Но эта женщина — дочь новой, молодой расы. На ее родине в древности скифы делали чаши из вражеских черепов и из этих диковинных сосудов пили чуждое, странное вино... Ее родина и поныне — бескрайние степи... По бескрайним степям и поныне с рыжим ржаньем мчится дикий жеребец. Кто укротит, кто объездит его? Кровь Ольги Балашовой поднимается. Она расправляет плечи.

Город отходит ко сну. Только кое-где еще по плоским кровлям расхаживают юноши... Наверное, истомленные дневным зноем, ждут лунной прохлады. Женщина бредет, как сомнамбула. Мысли прожигают мозг. Куда же он делся? Куда исчез? А вдруг разбился?! Внезапно вспоминается песня, которую она услышала близ Абгерма... Не свернул ли он туда? Нет, не может быть. Что нужно там Арчибальду Мекешу! Но надежда хватает и за невозможное. И все же догадка эта сомнительна. Нет... Женщина взбудоражена и измученна... Она проклинаяет тот день в Лозанне. Проклинает шепот... Проклинает себя... Почему она солгала ему? Почему


¹ По-груз. «корани» — ворон, «курани» — коран.

сама же возвела преграды? Не потому ли, что любит их преодолевать?! На ее родине часто бывает — помчится вскачь степная кобылица, серая, цвета свинца и в ее ржанье — опасность бескрайних просторов...

Из дальнего сада слышится пение... Женщина прислушивается... Пение обрывается... Теперь кто-то играет на тари... Нужно привить своему телу иранское солнце... Нужно увидеть обоженные солнцем голые скалы... Нужно оглохнуть и задохнуться от тишины. Нужно перейти, перелиться в прошлое... Только после всего этого поймешь голос тари... В нем — испепеление сердца... В нем — само сердце: выпрыгнувшее, выскочившее и кровью пролившееся на жгучий песок... В нем — тоска... Только тоска... Все отдыхает. Только сердце не отдыхает. Но есть миг, когда и сердце замирает, останавливается, как зачарованная птица... И нет тогда воздуха... Нет дыхания... Свет — свет! — кричали глаза Гёте. Сердце Ольги тоже порой останавливается — раненое сердце менады... О, какой острой тоской пронзает ее сердце голос тари... Он влечет ее сердце куда-то вдаль, в мир видений или волшебства... Рвет на части... Треплет... Расшвыривает по клочкам... Но сердце все же не умирает... Бедное, оно продолжает трепетать... О, как же сладостен первый удар сердца в тот миг, когда оно оживает!.. Женщина слушает тари... Теперь звукам тари сопутствует песня... Это не песня — это плач... это рыдание... это крик... это вопль... Вокруг — никого... Тополя, взметнувшиеся ввысь, как эфесы мечей. Луна ткет нити прозрачных сетей... Город спит. Временами стаи воронов перелетают с дерева на дерево... Человек, раненный любовью, кричит — рыдает — плачет... А может, неясно это, поющая устами человека... Женщина слушает ее пение и душит рыдания в горле. Ей хочется заплакать, ее останавливает только лишь ярость. Ей хочется кричать, горестно кричать, как менада, бросившаяся за Дионисом, но она знает: крик погубит ее, что-то или кто-то останавливает ее...

... ..

По окрестностям Казвина мчит обезумевший «форд». Аллан внезапно вскакивает. Навостряет уши. Лает остервенело. Наметанный глаз заметит, как по телу до-



га пробегает дрожь. «Форд» приближается к голому холму. Оттуда доносится вой. Аллан едва не выпрыгивает. Вой усиливается. Мекеш выхватывает кольт. Аллан лает еще яростнее. Вой ужасен. Волки или шакалы? Что им надо в эту пору? «Форд» поравнялся с холмом. Волки — или шакалы — образовали круг. Задрав морды кверху, смотрят на луну и непрерывно, протяжно воют. Грянул выстрел. Таба-Табай удерживает Аллана. Высокий лай Аллана несется вслед грохоту выстрела. Вой смолкает — разбежались они, что ли. «Форд» оставляет холм позади. Вой раздается вновь. Шофер прибавляет ходу. Вой замирает. Таба-Табай погружается в нирвану. Арчибальд Мекеш смотрит на луну. Аллан разочек взлаивает на луну и головой утыкается в колени Мекеша. Издалека опять доносится что-то похожее на вой. Таба-Табай треплет рукой Аллана по голове.

— Собака тоже волчьего племени...

— Или волк собачьего племени...

— И волк, и собака лают на луну...

— Удивительно это...

— Когда кто-нибудь умирает, собака начинает выть.

— Да, я слышал об этом... Но почему?

— Чует запах трупа...

— В умирающем?..

— Да. Потому боятся воя собаки.

— Но при чем тут луна?

— Луна — мертвое тело, труп... вернее — знак трупа...

— Как это?!

— Луна светит благодаря солнцу, луна — мертвая планета.

— И потому собаки лают на луну?

— На этот труп воют и волки.

— Поразительно...

— У них космический нюх.

— А-а-а... Теперь я понимаю...

— Что вы понимаете?

— Молитву фессалийских колдуний...



— Которую приводит Ориген?

— Да!

— Как это у него?

— «Я пришла в ад! Пришла на землю, пришла! Небесная Геката! Богиня великих дорог и перекрестков! Ты — идущая в ночи! Ты — дающая свет! Ты — ненавидящая свет! Ты — друг и соучастница ночи! Ты — радующаяся лаю собак и пролитой крови! Блуждающая по могилам среди призраков. Ты — алкающая крови и несущая ужасы смертным! Бомбо! Горго! Многоликая луна! Будь благосклонной сопутчицей во время принесения жертвы!»

— Жуткая молитва... или заклинание. Примечательно: луна — дающая свет и — ненавидящая свет. Здесь ее знак. Вы видите: фессалийские колдуньи знали: луна радуется лаю собак... Да!... Луна — мервая планета.

Арчибальд Мекеш все смотрит на луну. Мысли роятся вокруг нее. Что есть — того нет. Луна — тень этого «нет». Призрак... Второй лик... Дыхание смерти — ее цвет и ее настроение... Знак смерти: труп... учуять запах трупа... лай... ужасающий. Страшный... Может, прав этот человек — рябой, веснушчатый, персиянин — то ли индус — то ли египтянин... Луна ведь меланхолична. Но почему же так любят ее поэты? Не потому ли, что предчувствуют испепеление любви? Почему воспевают ее поэты?.. Вероятно, потому, что предчувствуют аромат смерти... Неожиданно от сонма поэтов отделяется тень Жюль Лафорга... Мекеш видит: он с упорством собаки лает на луну... Арчибальд Мекеш уже не воспринимает сидящего рядом... Он шепчет:

— Лает... лает...

— Кто?!

— Жюль Лафорг!..

— Кто он?

— Поэт Франции!

— Что его мучало?

— Чахотка и Апокалипсис...

— Я же вам сказал!

— Что?!

— Что луна — планетарный знак трупa. Хотя она и имеет аромат. Поэт обладал космическим чутьем...

... ..

«Форд» разъярен. Тишина Иранского плоскогорья заглушает все... В мириадах звезд, в мириадах глаз, в фантазмах луны — Иран со своим сверкающим небом — словно огромным морем — которое, по словам Гомера, «не знает сбора винограда» — море зеркал египетского изумруда. Все двоится. И сама луна — на ущербе. Среди мириад призраков мелькнет порой вдали тень женщины с глазами цвета ящерицы...

Неужели она?! Нет... Откуда ей здесь взяться! Верно, лунная пороша... Но отчего так сладостно даже видение?..

... ..

Куда он исчез? Куда провалился? Или это был призрак? Нет! То был он. Мысли буравят мозг. Куда, куда он исчез!.. Внезапно в памяти всплывает чалма... Ага, несомненно, то был персиянин... Может с ним он и захватил куда-нибудь?.. Сердце ищет надежду: даже на краю пропасти — пока не изойдет кровью. Женщина едет. Вот столп. Отсюда открывается дорога на Хамадан. Она выходит за город — из города. Не знает куда, не знает — зачем... Шоссе пестрит лунными призраками... Женщина видит: перед нею — юноша... высокий... глаза серые с голубизной... нос прямой с орлиной горбинкой. Волосы — черные, разделенные на пробор... Лицо спокойное и черты лица твердые. Вся фигура — сдержанная страсть. Безмолвный, стоит он перед женщиной. К чему слова? Весь он — слово, укрощающее стихию...

— Знаю без слов...

Юноша вздрагивает при звуке ее голоса.

Вспоминает женщина... или это происходит сейчас...

— И я... Я тоже люблю тебя...

Женский крик рассекает замороженные луной просторы, как полет сказочной птицы.

Глаза женщины расширяются... Сердце расколосось на две жаждущие горсти. Если не прольется в него жи-

вой поток, сердце разобьется о землю, как трепетный
птенец...

Женщина кричит. Крик разбивается...

Впереди — собачий лай... Мчится автомобиль...

Женщина цепенеет. Ждет. Собачий лай нарастает...

Автомобиль приближается.

Шофер замедляет ход...

Персиянин — то ли индус — то ли египтянин сбрасывает флегму.

Мекеш всматривается вперед, приподнявшись на сиденье.

Аллан лает. Автомобиль останавливается.

Арчибальд выпрыгивает.

— Ольга!

— Арчи...

Аллан лает на женщину.

Продолжение следует

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ



Маквала ГОНАШВИЛИ

Любовь

Опоздал ты!
И пусть всего лишь на миг —
Опоздал...
Если б ты раньше возник!
Правда, губы твои, —
Как скольжение диких лиан,
Стремительно текущих вверх по стволу!
И хотя я навстречу тебе плыву.
И в голове от мыслей твоих дурман,
И хотя я не хочу печали твоей,
И только повели, дыханьем повеи —
Лягу в твои ладони
Каплей тишайших рос,
И пусть свадебные одежды,
Что ты принес,
Дышали,
Солнечными лучами шурша,
И полна ландышами твоя душа,
И пусть луговым ароматом
Ты пропах, как и я...
Я виновата?.. Вина — моя?..
Почему же ты опоздал?..
Я виновата.
Да. Хоть в мире и нет
Меры моей вины...
Знай! Я — любовница Сатаны!
И теперь, ликуя,
Спешу к нему.
Да, я люблю его.
Почему?!



УДК 82(07)
ББК 84.001.01

Только об одном молю: не клянись.

Пусть и отказ.

Но лишь бы прямо в глаза.

Когда над землей луна, как слеза,

Ты ведь знаешь: я поверю и в ложь.

Упаду, как трава под косой, слаба.

Тихие очи мои наполнит мольба.

Забуду советы луны и ветра слова,

Ропот трав и порученья цветов...

Вдруг затихну — ты мне построишь

башню из слов.

Чуть затоскую — рассмешишь меня в тот же час.

И твой несбыточный поцелуй подчинит меня,

Словно ветра ступня —

робкий росток...

О, если б перед лицом солнца ты смог

Правду сказать хоть раз.

Перевод Николая ВЛАДИМИРОВА



„...ЗАСТУПНИК МОИ ЕСИ“

РОМАН

Двое друзей не без труда отыскали отправившегося на охоту в горы Отара. И хотя ему сказали, что сын попал в аварию и сильно пострадал, Отар понял, что Левана больше нет.

...В ночь накануне похорон он отпустил по домам ребят, все время дежуривших возле гроба, и остался наедине с сыном.

Он смотрел на мерцание свечи в изголовье, и сердце разрывалось от горького чувства полного бессилия перед тем, что называлось смертью. Впрочем, такое ощущение у него было и раньше, но сейчас ему казалось, что с этой мукой ничто не может сравниться. Может, потому что на сей раз речь шла о родном сыне, а возможно, и оттого, что грусть по умершей матери со временем потеряла былую остроту.

«...Вместе нам больше никогда не быть... Я потерял тебя навсегда, — шептал он Левану. — Что мне делать, как жить без тебя...»

Он плакал.

Четыре дня окаменевший от горя, не разжимая губ, он стоял, пытаясь проглотить застрявший в горле ком, или бесцельно бродил по комнате, наполненной людьми. Теперь же, оставшись в одиночестве, он не знал, как свыкнуться с мыслью о смерти.

Он сел на стул, положил голову на грудь сына. «Какие планы мы с тобой строили, сынок, как ждали, надеялись»...

Вспоминалось то одно, то другое — связанное с сыном. Он видел Левана как будто живым, и в то же время его не покидало сознание, что все это было про-

шлым, мертвым, отрезанным от будущего прошлым, которого ничто, кроме памяти, оживить не могло.

Это была ужасающая реальность, но сейчас он не мог, не хотел убегать от нее. Ведь завтра он уже и таким не увидит сына, поэтому этой ночью, только этой последней ночью надо было успеть побыть с ним, заново прожить короткую, но счастливую жизнь.

...Левану было уже десять лет, когда они подружались, в день рождения мальчик отказался от велосипеда, — я о лошади мечтаю, — сказал он робко.

Отар удивился, сам он никогда не говорил сыну о своей любви к лошадям. В деревне Твали можно было увидеть двух-трех разбитых тяжелой работой кляч, глядя на которых полюбить лошадей было невозможно. А вот мальчик, оказывается, мечтал!

В тот день из уст сына он услышал свою собственную тайну, обрадовался, вспомнил своевольную, как ветер, «Пантеру». Больше у него никогда лошадей не было, судьба сложилась так, что не до лошадей было, хотя в душе продолжала жить юношеская любовь. И вот теперь Леван доверил ему свою сокровенную мечту.

Тогда он начал подумывать о ферме. Его обнадежили, сказали, что поддержат идею разведения тушинской породы.

«...Сколько же мы пережили вместе с тобой, Леван... Ты, как взрослый, как настоящий мужчина, ходил со мной по деревням, собирал лошадей... С каким трудом раздобыли мы пятерых кобыл и двух жеребцов... Разве мог ты, ребенок, понять, что помог мне найти себя, свое дело... Я же ни разу тебе об этом не сказал... Может, должен был сказать, может, ты нуждался в этом, а я не догадывался. Но верь мне, в глубине души я был бесконечно тебе благодарен!» — он говорил так, словно хотел загладить свою вину, исправить невольно допущенную ошибку.

На память почему-то приходило только то, что когда-то обоим приносило радость.

«Как ты обрадовался, когда к твоему приезду под Новый год я приготовил тебе сюрприз — жеребца-кабардинца. Да когда же пройдет 11 месяцев, сердился ты, горел от нетерпения скорее убедиться, что родившийся в результате скрещення пород жеребенок будет луч-

ше родителей... Твоя мать просила не сообщать тебе, не срывать с лекций, но я все же дал телеграмму — уж больно хотелось тебя порадовать...

Потом ты увлекся спортивной ездой. Только и было разговоров, что о лошадях — об их изяществе и быстроте. Ты чуть было институт не забросил — день и ночь пропадал на тренировках. Да и я, когда приезжал в Тбилиси, как и все твои товарищи, не дома тебя находил, а на ипподроме...

Как ты умел увлекаться, Леван!

Боже, как хорошо, что нам неизвестно, что нам завтра готовит судьба...

Какое счастье, что твоя жизнь промчалась в мечтах и надеждах...

И если я хоть что-то сумел...»

* * *

Прошло три месяца.

Как-то утром Отар увидел из окна, как выскочил со двора в проулочек его шестилетний внук Гио. Держа в руке поджаристую корочку длинного, как ладья, шотипури, он с аппетитом жевал вкусный хлеб, поглядывая по сторонам. Внезапно Гио сорвался с места — увидел своих дружков — братьев-близнецов. Окрик матери вынудил его приостановиться. Потом он сделал вид, будто ничего не слышал, и двинулся дальше, тогда Нана окликнула его громче, и ему пришлось вернуться во двор.

— Зацапали тебя? — спросил Отар, спускаясь со второго этажа вниз. Насупившийся Гио при виде деда перестал дуться и с разбегу кинулся Отару на грудь. Отар поцеловал внука, тот слегка отстранился, чтобы борода не царапала лицо, потом соскочил на землю и они оба направились завтракать.

Высокий, сухощавый, Отар сел на свое обычное место во главе стола и сразу принялся за еду.

Напротив Отара было место жены, но она пока не собиралась садиться. Тонкая, прямая, как струна, Ая, как-то непривычно выглядевшая в черном траурном платье, медленнее обычного двигалась между кухней и столовой. И только ее походка выдавала всю тяжесть обрушившегося на нее несчастья, она не плакала, не уп-

рекала никого, не жаловалась на судьбу. Что же касается лица, осунувшегося и почерневшего от горя, то домочадцы не замечали его или делали вид, что не замечают.

— Бабуля, накорми меня, — ерзал на стуле Гио.

— Сейчас, — Айя вышла из комнаты и позвала невестку. — Нана, мы тебя ждем.


Вернувшись, она под села к внуку и стала накладывать еду ему на тарелку.

Очень скоро появилась и Нана. Бледность ее лица еще больше подчеркивали длинные черные, отдающие в синеву волосы и черная траурная одежда. Нана сначала взглянула на стул, стоявший напротив, чуть отодвинутый от стола, потом на столовый прибор — в стакан был налит чай, на чистой тарелке лежал кусок хлеба. Рядом, как полагается, вилка и нож. Потом она перевела взгляд на свекровь, налила себе чай и села.

Айя, конечно, заметила вызывающий взгляд снохи, но, как ни в чем не бывало, молча продолжала кормить внука, время от времени поднимая глаза на висящий на стене портрет сына.

Это был последний портрет Левана. Улыбка освещала необыкновенным внутренним светом лицо совсем еще молодого человека. Айя особенно любила эту фотографию, как отблеск счастливых двадцати трех лет. Даже в невыносимо тяжелые дни эта добрая улыбка по-прежнему согревала сердце матери, и она была благодарна Провидению за то чудо, которого удостоилась, имея такого сына. Для Айи Леван был солнцем, едва он открывал глаза, как все вокруг оживало, вокруг него, казалось, вращалась сама вселенная. Конечно, Айя любила и Отара, но Леван поглотил ее всю целиком. Да нет, не Леван, а тот страх, который не давал ей покоя, застилал взор, мучил неотвязно, и если бы Айя не сопротивлялась изо всех сил, он давно бы завладел ею целиком, лишил разума. Айя даже не понимала толком, откуда взялось это ненавистное чувство, как могло вторгнуться в переполненное любовью к сыну сердце, почему грозило отнять у нее то, с чем ничто на земле не могло сравниться.

...Тогда Левану было 15 лет. Только-только проступил легкий пушок над верхней губой, и как это бывает



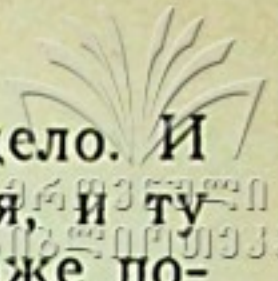
в таком возрасте, любил он немного похорохориться. В ту весну он как-то особенно вытянулся, у него изменилось не только выражение лица, но и походка. Он стал подолгу простаивать перед зеркалом, подолгу расчесывать густую каштановую шевелюру, пуще зеницы ока берег пушок над губой и еженедельно безжалостно скреб по-детски гладкие щеки, на которых с трудом можно было обнаружить лишь намек на будущую щетину. Айя нарадоваться не могла, глядя, как играя широкими плечами, чистенький и аккуратно одетый Леван отправлялся в школу.

Случилось так, что однажды Айя почти столкнулась с арбой, ехавшей в соседнюю деревню. На арбе лежали два незнакомых парня лет шестнадцати, попавших, как сказал кто-то, под высокое напряжение — током убило. Айя, не помня себя, побежала домой, где оставила больного Левана — он лежал с высокой температурой; стараясь не разбудить сына, Айя долго сидела у его кровати и сама не заметила, как рассудок ее помутился, как властно завладел ею ранее неведомый, но теперь четко ощутимый, гнетущий страх. Айя вскочила и беспомощно заметалась по комнате. И выйти не могла, не хотела оставлять Левана одного, и рядом находиться была не в силах — стремилась унести подальше от сына эти страшные мысли. В висках непрерывно стучали молоточки, а перед глазами мелькало что-то белесое, бесплотное, неживое, но непрерывно движущееся.

В отчаянии Айя кинулась к сыну. Проснувшись, он удивился такому бурному проявлению чувств — ведь с тех пор, как он вырос, мать ни разу его не поцеловала.

Айя всей душой ненавидела тот памятный день. Особенно сильно она ощущала эту ненависть, когда снова вставал перед глазами тот бесплотный, неживой и все же движущийся кошмар. Она яростно боролась со страхом, боролась все восемь лет, пока...

Она сама проводила сына в последний путь, уход его из жизни отнял у нее все — она растаяла, высохла, почти ничего не видела от слез, но не умерла. Было удивительно, что она осталась живой. Что удержало ее? В поисках ответа на этот вопрос мысль ее обращалась к внуку — и сразу на сердце становилось теплее. И все-



таки она понимала, что не в нем одном было дело. И признаваясь себе в этом, она ненавидела и себя, и ту силу, которая привязывает человека к жизни даже после того, как он собственной рукой бросил ком земли на могилу единственного сына. Что же это была за сила? Почему человек не уходил в мир иной следом за тем, кого любил больше жизни? Что удерживало его на этом свете?

Так она и жила, погруженная в свои горькие мысли. Мысли о том, что было и что будет, о том, о чем раньше некогда было думать.

Этим утром, в давящей тишине взаимного отчуждения они сидели достаточно далеко друг от друга, не переговариваясь и, казалось, не испытывая никакого интереса и желания общаться. Айю удивляло, с каким аппетитом ел Отар, удивляло, насколько прочной была в человеке привязанность к жизни... А ведь он очень любил сына. Так почему же не пропал у него аппетит, почему не забывал он каждое утро надевать свежую рубашку, как он мог по-прежнему радоваться жизни?! Айя осуждала себя за эти тайные мысли, иногда ей даже казалось, что она все преувеличивает, но как забыть виденное собственными глазами! Именно это питало ее подозрения. До самого момента похорон Айя еще кое-как держалась, онемелая, с сухими глазами сидела она возле покойника, словно безумная, а потом свалилась и уже не смогла встать, лежала совершенно неподвижно, и единственным признаком жизни были глаза. Как-то утром, когда к ней вернулось слабое ощущение реальности, через открытую дверь она увидела стоявшего у зеркала Отара. Он расчесывал волосы и бороду, как ей показалось, любуясь своим отражением. Вот он поправил воротничок, снова вернулся к волосам и бороде... Увиденное ее буквально потрясло, вернее не потрясло, а изумило. Она даже привстала в постели, чтобы убедиться, что за дверью стоял живой человек, а не призрак. Пока она с трудом поднималась, Отар уже отложил в сторону щетку и теперь просто улыбался своему отражению!

После того дня Айя часто думала об увиденном. Она прекрасно знала, что каждый человек по-своему переживает и горе, и радость, но что это было? Она ис-

кала оправдания Отару, гнала от себя мысль о том, что он слишком любит себя, но другой причины столь странного поведения она так и не смогла придумать.

Смерть Левана заставила ее увидеть все в новом свете, с новой силой заболело, заныло все то, что, казалось, с течением времени забылось, задремало, а потому вроде бы и перестало существовать, ибо никого не тревожило.

Леван ушел из жизни внезапно, так, что Айя не успела сказать мужу о с недавнем ее недуге страха, дурного предчувствия. Случилось это и не из-за ее замкнутости, и не оттого, что Отар не сумел бы ее понять. Нет, просто Айя считала, что этот страх необходимо похоронить в сердце, не открываться никому, даже самым близким. Она как бы наложила на него табу, завязала ему рот, как в деревнях завязывают пасть зверю. Тем более, что страх каким-то непостижимым образом приблизил к ней Отара. Она, правда, ничего не говорила ему, но его присутствие облегчало ей нескончаемую борьбу с кошмаром. Она верила, что они трое — одна плоть и одна душа, и пока они вместе — им ничто не грозит. В этом Айя никогда не сомневалась, но очнувшись, придя в сознание после страшной потери, она вдруг почувствовала, что хотя они с Отаром по-прежнему вместе, между ними разверзлась непреодолимая пропасть. Они стояли по разные стороны этой пропасти — и там, где находилась Айя, были только прах и тлен, а там, где находился Отар — по-прежнему цвели цветы. И пропасть показалась ей такой безликой и страшной, что она поняла — никогда больше они не смогут протянуть друг другу руки.

Вот какие мысли одолевали Айю, правда, понимала она и другое — что все это, возможно, плоды ее больного воображения, сдобренные страхом, преувеличенные, ведь ничем конкретным ее подозрения не подкреплялись. Отар не давал ни малейшего повода к недовольству, не говорил и не делал ничего такого, что служило бы основанием для тревоги. Все так, и тем не менее, пронизывал ее странный холод и каким-то шестым чувством угадывала она, что непременно быть беде! Раньше она очень любила мечтать, теперь же, словно ласточка в предчувствии грозы, держалась поближе к земле и за-

кутывалась в плотные покровы. Хотя, в общем-то, она уже не боялась грозы, ибо совсем недавно пережила настоящий смерч и осталась, тем не менее, в живых!

Вот и сегодня, в привычном ритуале утреннего завтрака внешне как будто ничего не изменилось, но Айя ощущала все с такой остротой, что ей хотелось кричать. Она сидела молча, не сводя глаз с любимого мужа.

...Отар допил свой чай, погладил по головке внука, улыбкой ответил на его улыбку и вышел из комнаты.

* * *

— Дорогу! — загудел в коридоре крупный, кряжистый Алекси, которого из-за густых сросшихся бровей и грозного взгляда называли «Орлом», уверенно прокладывая себе путь среди сотрудников, толпившихся в приемной, он смело ступил в кабинет Отара. Давно ожидавшиеся своей очереди люди зароптали лишь после того, как дверь за «Орлом» захлопнулась.

К понедельнику дел, как всегда, накопилось много. Люди то и дело входили и выходили, одни — улыбаясь, другие — насупившись. Все старались свою проблему изобразить значительной, добиться нужного решения. Отар выслушивал каждого, но все время чувствовал, как дышать в кабинете ему становилось все труднее, все тяжелее двигаться, что-то хотелось делать, действовать, и как только приемная опустела, он вышел во двор, решив осмотреть конюшни и пастбища. Пройдя мимо развалин старой стены, сложенной из булыжника, Отар остановился на пороге конюшни. Тщедушный старичок, чистивший ясли в полутемном помещении, на приветствие ответил коротким кивком.

— Дядя Тедо, неужто ты в этой темноте что-нибудь видишь?

— Можно подумать, ты моего Гайоза не знаешь! Почему не привел его с собой, чтобы я при нем мог тебе пожаловаться!

— А зачем тебе на родного сына жаловаться?

— Да не слушается меня ни в чем, все по-своему норовит сделать! Вон тот замок давно открыть не могу. И дома, и здесь прошу — принеси новый, не несет!

— А ты пошел бы на склад и сам взял.

— Ну ты, прямо как мой сын, рассуждаешь. Зачем



мне туда идти, а подметать он, что ли, за меня будет? Каждый должен своим делом заниматься...

— Ладно, спущу с твоего Гайоза шкуру!

— Смотри... Только с работы не выгоняй, трое детей у него, рты разинут, что твои галчата... — Старик, улыбаясь, вышел вслед за Отаром. — Отар, сынок, раз уж ты на моей стороне, может попросишь нашего участкового у Гайоза мотоциклет отнять, а то, боюсь, беда случится, гоняет, как на хорошем скакуне.

Отар слушал старика, сам задавал вопросы, отвечал, когда было нужно, но слова не доходили до сердца, ему не терпелось остаться одному. Наконец, оставив конюшни позади, он по тропинке, потрескавшейся от зноя, направился к пастбищу. Шагал и шагал себе вперед, одолеваемый целым роем мыслей, которые никак не выстраивались в стройный, последовательный ряд, чтобы можно было вынести какой-то смысл, на чем-то остановиться. А дело было в том, что он сам не знал, чего хотел. Чувствовал, как что-то будоражит его, не дает покоя, но это «что-то» он никак не мог ухватить, чтобы или разделаться с ним, или хотя бы разобраться в своей душевной смуте. Раньше он всегда знал, чего хотел, знал, куда и зачем шел. Во всяком случае думал, что знает. Теперь же похож был на опоенного каким-то дурманом и сам не мог понять, что томило его.

Отар не заметил, как поднялся на холм. Не чувствовал ни усталости, ни палящего солнца. С горки как на ладони раскинулся расцвеченный цветами луг. Красота залитой солнцем долины заставила Отара ощутить, как снова по-юношески бьется его сердце. Внезапно ему захотелось еще большего простора, чем тот, что открывался отсюда. Он встал спиной к солнцу и взглянул на небо. Следя за бегущим по небу облачком, Отар вдруг позавидовал ему, его свободе, вольности, безоглядной смелости... Почему это облако напомнило ему дом, высокий дом — белый, красивый, такой дом должен быть наполнен радостью, но вот оно пустилось в дальний путь. Куда? Зачем? Наверное, как и человек, стремится к чему-то большему... Вдруг Отар заметил, как от глухой стены дома вдруг отделились окна и двери, внезапно изменились форма и цвет облака. Теперь преобладали золотисто-алые тона. Отар даже огорчиться не успел, как ветер подбросил живописное облачко

вверх, перевернул его и — рассеял, тотчас собрал снова, но от прежнего «дома» остались только с трудом различимые части. Стало всерьез жалко, что разрушен высокий красивый дом, даже не хотелось больше смотреть на небо, но ветер не утихал, и нельзя было бросить на произвол судьбы знакомые облака. Отару показалось, что ветер вновь собрал «развалины», но тотчас сам сильным порывом разорвал клубок облаков, и, разлетевшись в разные стороны, они рассеялись в безграничном пространстве, вновь сходясь и расходясь, и образуя все новые и новые причудливые фигуры.

Схватка ветра с облаками почему-то омрачила его радужное настроение, все вокруг вдруг показалось сумрачным, тоскливым, но он взял себя в руки и отогнал подальше неприятные мысли.

Снова окинул взглядом бескрайний цветущий луг и снова ощутил безотчетную радость. Впрочем, всегда ли для приподнятого настроения нужна причина? Возбуждение охватило и разум, и чувства, он изнемогал от ощущения полноты сил и чувств. Может, оттого и радовался, что, приближаясь к полувековому рубежу, он ощущал себя по-прежнему молодым. А может, радовал простор и вид этого пестрого луга? Захотелось громко крикнуть, чтобы услышать свой голос, но не успело затихнуть вдали эхо, как перед глазами возник Леван, и Отар устыдился своей беспричинной радости.

* * *

— Положи цветы к изголовью, Гио, — сказала Айя внуку, протягивая мальчику букет из полевых цветов, которые Гио собрал здесь же, возле кладбища, и сложил ей в подол.

Гио взял букет, аккуратно обошел вокруг земляного холмика и положил цветы к подножью деревянного креста.

С довольной улыбкой взглянул на бабушку — хорошо ли выполнил ее просьбу?

Единственное, что приносило Айе тень утешения после разразившегося в конце апреля несчастья, это кладбище, куда можно было прийти, коснуться рукой земли, которая теперь должна была заменить Левану мать.

Она стояла на коленях возле свежей, еще неогороженной могилы, парализованная почти физически ощу-

тимой болью, смотрела на холмик еще не затвердевшего глинозема и про себя повторяла имя сына, как будто хотела хоть ненадолго задержать его, заставить обернуться хоть на мгновение. «Как внезапно, как быстро ты исчез, сынок... — шептала она, — если собирался покинуть нас, дал бы мне окружить тебя вниманием, заботой, наглядеться на тебя в досталь...»

Сердце подступало к горлу, и неумолимо было продолжать разговор с сыном. Она попыталась справиться с собой, подавить рвущиеся из груди рыдания, но мысль, сначала неясная и далекая, росла и крепла, завладевая всем ее существом, и мысль эта — была о семье, о той безнадежно, неузнаваемо исковерканной жизни, которая свила гнездо в их доме после смерти Левана.

Айя поднялась с колен — о другом она могла еще говорить с сыном, но эта мысль должна оставаться для него тайной, лучше, чтобы он ничего не знал о том, что происходит в родном доме.

Она кинула прощальный взгляд на могилу и пошла вниз по спуску.

Гио последовал за ней.

* * *

Девушки, певшие слаженно и проникновенно, завидев Отара, умолкли.

— Чего замолчали? — крикнули им парни, разлегшиеся в тенечке, но прежде чем услышали ответ, сами увидели директора, направлявшегося к одиноко сидящему возле стены старику. Наперерез ему торопилась молодая, свежая, кровь с молоком, женщина.

— Отар, мне нужна ваша подпись, — сказала она, отбрасывая назад длинные светлые волосы и подавая ему целую пачку бумаг.

Отар протянул руку за бумагами, но женщина немного замешкалась, и он вопросительно взглянул на нее, внезапно почти физически ощутив на себе ее взгляд, как некое излучение, пронзившее его насквозь.

— Когда это их столько набралось? — спросил он, разглядывая бумаги.

— Да вам же некогда было!

Отар снова взглянул на нее словно бы освещенное изнутри лицо и подивился красоте и чарующей силе миндалевидных зеленых глаз. Ему показалось, что эти

глаза говорили о чем-то, старались внушить ему что-то. Но что?

Женщина, словно поняла его вопрос, поспешно опустила голову.

— Да нет, — вслух отмел Отар пустые досужие мысли.

— Вы что-то сказали? — спросила Дали.

— Да опять мне некогда! Оставьте у меня на столе. — Отар вернул бумаги, подошел к старику, сказал что-то и вместе с ним скрылся в здании.

* * *

Гио, догнав бабушку, подергал ее за подол.

— Бабуля, мы к дедушке идем?

— А зачем он тебе?

— У него для меня жеребенок есть...

— В другой раз, Гио.

— Нет, я сейчас хочу!

Гио, получив отказ, остановился, обиженный. Ушедшая вперед Айя оглянулась, ласково позвала:

— Догоняй!

Мальчик подбежал, сердито проговорил:

— Ты плохая... Меня все равно мама отведет!

Слова ребенка пронзили сердце Айи, но она тут же простила его. Шла под гору и думала, как легко вообще обижалась, какое значение придавала интонации, взгляду, усмешке, корила себя за чрезмерную чувствительность, старалась быть поравнодушнее, но не могла, это ей не удавалось даже теперь, когда уже ничто по-настоящему не волновало ее, все стало безразлично.

Перед глазами встал образ снохи: «Матери не до тебя», — в уме ответила она внуку, вспомнив тот роковой вечер.

...Нана сидела, нервно подправляя пилочкой намазанные ярким лаком ногти и ежеминутно поглядывая на часы.

Гио, увидев мать в нарядном платье, понял, что она куда-то уходит, и расстроился. Почему-то именно сейчас ему не хотелось с ней расставаться. Он повертелся вокруг нее, но она даже на него не взглянула, ибо все внимание ее было приковано к дороге. Гио притащил

книжку и попытался взобраться матери на колени. Нана отстранила его.

— Почитай! — не отставал Гио.

— оставь меня в покое! — закричала мать, почти отталкивая мальчика.

— Почитай книжку! — захныкал Гио, уже готовый расплакаться, снова припадая к материнским коленям.

— Да отвяжешься ты, наконец! — закричала выведенная из себя Нана, отшвырнула книгу и так сильно оттолкнула Гио, что он упал.

Гио разревелся, но поскольку мать даже не взглянула в его сторону, он сам поднялся, подошел к ней и уткнулся головой ей в грудь, ища утешения. Нана попыталась снова оттолкнуть его, а когда это ей не удалось, принялась так ожесточенно бить мальчика, что Айя с трудом вырвала внука у нее из рук.

— Что с тобой происходит, Нана? — спросила Айя спокойно.

— Ты меня спрашиваешь? Лучше скажи, где твой хваленый сыночек? — еще пуще раскричалась сноха. — Ведь он знает, как мне хочется пойти туда.

— Наверное, на работе задержался, — так же спокойно продолжала Айя.

— Да лучше бы он сквозь землю провалился! Хоть бы живым домой не являлся!

— Замолчи! — крикнула Айя.

Их прервал протяжный гудок автомобиля.

— Папа! — с радостным криком Гио выскочил за ворота.

Завидев Айю, Леван ссадил сына с колен, вылез из машины и обнял мать.

— Я немного выпил, мама...

— Ну и на здоровье, сынок.

— Нана готова?

— ...Нет, — солгала Айя, — раз уж ты опоздал, она решила никуда не идти.

— Что-то на нее это не похоже! — засмеялся Леван.

— Пошли домой, — взмолилась мать.

Гио повис у отца на шее. Айя поспешила в дом.

— Нана, доченька, Леван выпил немного, не надо вам никуда ехать...

— Почему? Я сяду за руль, — пожала плечами
Нана.

— Не надо, умоляю, — попыталась отговорить сноху Айя, но та, рассмеявшись ей прямо в лицо, взяла сумочку и вышла.

Айя осталась в доме. Слышала, как Леван завел машину.

* * *

— Продаешь, дядюшка Мито? — окликнул безусый юнец выходящего из здания фермы с охапкой кос старика.

— Держи! — кинул ему одну косу Мито.

— Да не беспокойся, мне не надо, — вернул косу юноша.

— Все на покос, — старик стал раздавать косы прохлаждавшимся в тенечке парням.

— Меня тут не было! — быстро смекнул один и ловко перескочил через ограду.

— Да если бы я захотел косу в руки взять, в моем дворе чертополох бы не рос! — второй, с толстой шеей, повернулся с одного бока на другой.

— Мы что тут, косарями оформлены? — огрызнулся сероглазый.

— Отару, как видно, делать нечего, вот он нам работу и выдумывает, — пошутил безусый.

— Это точно! — охотно подтвердил лежебока с толстой, как у быка, шеей.

— Да у него... — начал сероглазый, но тут же осекся, увидев идущего к ним Отара.

— Эй, ребята! — издали окликнул их директор. — Мне сказали, что вы косить мастера, это правда?

Парни промолчали, и Отар понял, что взял неверный тон.

— У нас трава перегорает. Если будем косарей ждать, зимой у нас лошади с голоду помрут. Вы нам должны помочь.

Но и эти слова не подействовали на парней. Они, правда, встали, но можно сказать, спали на ходу, угрюмые, расхлябанные. Отар подумал, что в его пору молодежь была совсем другой, но сейчас было не до этого — надо было скосить траву, траве нужна была коса, а Отару — умеющие держать косу люди.

— Дядя Мито, дадим им премию? — спросил Отар старика, который стоял, опираясь на рукоятки кос. На парней он при этом старался не смотреть.

— Да уж не обидим! — заулыбался Мито, поворачиваясь к ребятам. — Разбирайте инструмент, герои... Видите, вам уже премию выписывают!

— Это мы еще увидим... — проворчал толстошей, подтолкнул стоявшего рядом сероглазого, и оба двинулись за Отаром.

— Вы нам хоть воды принесите попить, девчата! — крикнул безусый девушкам. Те в ответ звонко рассмеялись.

— Принесут! — громко, чтобы слышали девушки, сказал Отар.

* * *

— Добрый день, Айя, — с улыбкой поздоровалась с Айей пожилая женщина, вышедшая в проулок со своего двора, и погладила Гио по голове. — Как вытянулся твой внук!

— Растет, — согласилась Айя.

— Собиралась зайти к тебе, смотрю — сама идешь... Неловко беспокоить тебя, но не отказывай, Бога ради, уважь, осмотри невестку мою...

— Я лечить не умею, — отрезала Айя.

— Помнишь, где наш дом?

Айя промолчала.

— Да ведь совсем недавно ты у нашей Тины роды принимала! — обиженно заметила Нуца.

— Не помню... Вызовите врача.

— Да ездил за ним сын. В такую даль. Да отказался он. Занят, говорит, очень.

— Пусть еще попросит. Всего вам доброго!

— Да уж спасибо... Что нам еще остается! — Все так же обиженно сказала Нуца.

Айя с внуком не успели отойти далеко, как их догнал Нуцын оклик. Оглянувшись, они увидели, что Нуца спешит за ними, собрав в подол фартука спелые персики.

— За разговором запомнила совсем. Бери, сынок, кушай на здоровье!

— Спасибо! — довольный Гио подбежал к бабушке, держа персики в обеих руках.

Айе показалось бестактным и назойливым это угощение, но она не стала об этом думать, теперь ей было все равно, кто что скажет о ней, в своем нынешнем состоянии она и в самом деле не могла ни навестить роженицу, ни, что самое главное, — ей помочь.

* * *

— Воду несут! — крикнул сероглазый.

И тишина, нарушаемая лишь ритмичным посвистом кос, вдруг наполнилась веселым гвалтом. Солнце уже клонилось к закату, когда появились Дали и Лела с кувшинами. Теперь уж точно будет передышка, о которой давно перешептывались парни, но Отар и сам работал без отдыха, и молодым неловко было жаловаться на усталость.


Они побросали косы и расселись на пригорке.

— Славно мы поработали, — заметил Отар, окидывая взглядом скошенные склоны, вытащил просунутую за пояс сорочку и оделся.

Ребята балагурили в ожидании воды, а Отар, опираясь на косу, смотрел на идущих по тропинке девушек. Появление Дали, если говорить честно, удивило его. Он не мог понять, зачем ей понадобилось приходить сюда, когда любая сверстница Лелы запросто сделала бы то же самое. Видимо, ищет развлечений, подумал он, признаваясь себе, что и сам не прочь развлечься.

Ему захотелось, чтобы Дали подошла именно к нему первому, ему подала воды. И он так пристально стал смотреть на нее, словно хотел внушить ей свое желание. «Ты подойдешь ко мне... Раньше всех подойдешь...» — повторял он, не сводя с женщины глаз. Дали, подняв голову, сразу почувствовала взгляд Отара и, несмотря на расстояние, разделявшее их, различила в его глазах мелькнувший луч неприкрытого желания. Она поняла, что фундамент ее замысла уже заложен. Остановилась, прежде чем решить, как вести себя дальше. Женский инстинкт подсказал ей, что Отар ни в каком случае не должен заметить ее попыток завлечь его.

Перекинув на грудь длинные золотистые волосы, она двинулась дальше, и когда до него оставалось каких-нибудь два шага, резко повернулась и подошла к другому. Отару оставалось лишь улыбкой прикрыть явное разочарование.



Уже несколько месяцев Дали работала на ферме — прислали по распределению. На работу ее оформляли без него — он как раз был в командировке, и когда вернулся, главный зоотехник Давид стал жаловаться, как замучила его привередливая горожанка в поисках подходящей для жилья комнаты. Так он ее и запомнил, ничего больше о ней не знал. Впрочем, нет. Давид тогда же сказал: она столько комнат забраковала, что я был вынужден сказать ей — возвращайтесь обратно, дам вам справку, что работы по специальности для вас нет. На что Дали ответила категорическим отказом. И вот тогда-то, вспомнил Отар, чрезмерно любознательный Давид не удержался от вопроса: «Какая нелегкая принесла из города в эту глушь такую красавицу?!» Вспомнил Отар и то, что случайно замечал — и не раз — как ели ее глазами местные ребята. Правда, ни тогда, ни потом Отар не придавал этому особого значения, он знал, что в деревне так уж повелось — все молодые мужчины — неженатые и женатые — не обходили вниманием ни одной приезжей. Дали же особенно волновала их, так как не только холеной внешностью, манерой одеваться, поведением отличалась от местных девушек, но она еще и держалась — хоть и была одна, без мужа — столь неприступно, что даже деревенские кумушки не знали, какой ярлык к ней прицепить. Ярлык был необходим — здесь, в деревне, где все друг друга знали, знали все друг о друге, возможно, этими слухами и питались. Дали, судя по всему, сама ничего о себе сотрудницам не рассказывала и не обнаруживала никакого желания с кем-либо сблизиться, и то, что ничего не удавалось о ней узнать, еще больше распалало любопытных.

Отар тогда не придавал значения словам Давида о приезде Дали в деревню. Его совершенно не интересовала и не волновала судьба новенькой, но теперь ему самому захотелось узнать, каким ветром сюда занесло эту красавицу? Или она только потому оказалась здесь, что техникум распределил ее сюда? И вообще, что могло быть общего у этой типичной горожанки с деревней и тем более с фермой! Никто на эти вопросы ответить не мог, и Отар размышлял теперь над тем, насколько же неисповедимы пути Господни, из какой тьмы и хаоса

вдруг вырисовываются линии судьбы того или иного человека, как трудно постичь истинную суть человеческой личности. Дали больше походила на кинозвезду, чем на скромную служащую затерянной в глуши фермы. Невозможно было не заинтересоваться ее судьбой, прошлым, причинами, по которым она оказалась здесь.

Сейчас, обескураженный невниманием молодой женщины, Отар злился на себя за то, что столько думал о той, которую не знает, не знал никогда и знать не хотел. Тогда в чем же дело? Решил поразвлечься? Нет, понимал, что нравится она ему так сильно, что просто необходимо что-то о ней узнать.

Странно, ведь не впервой он ее видит, она здесь уже месяцев шесть живет. Почему раньше он не удосужился разглядеть ее толком, почему не замечал вообще? Текучка так заедала, столько было насущных дел и забот, что было просто не до чего, возможно, он и сейчас не обратил бы на нее внимания, если бы она сама не сделала смелой попытки, причем...

Да кто откажется от такой красавицы?! Но русоволосая чаровница не для веселого времяпрепровождения затеяла свой эксперимент. Отар это интуитивно чувствовал. Она нравилась ему, но ее далеко нацеленное кокетство раздражало его. Почему-то вспомнилась Таня — жена майора той воинской части, где Отар проходил службу. Чего только не болтали ребята о ее бесчувственности, называли дохлой рыбой, сами же только слюни глотали при виде широкобедрой зрелой женщины. Она же ни на кого даже не смотрела, кроме одного — ее страстью был уроженец города Запорожья Игорь, который не знал куда бежать от назойливого внимания Татьяны, только и мечтал попасть на гауптвахту, чтобы от нее спастись. Однако капитан прекрасно понимал, что к чему, и вдобавок не хотел обижать жену майора. Игорь ненавидел Таню. Чрезмерная активность была всему виной, но что поделаешь — такой уж она родилась.

«Интересно, нравятся кому-нибудь такие инициативные женщины?» — думал Отар, вспоминая, что его лично больше всего завлекал процесс ухаживания. Он знал, что для мужчины особенно ценен тот момент, когда слабое существо удовлетворит его тщеславие, даст по-

нять, что он силен и почти всемогущ. Большинству женщин нетрудно было играть такую роль, если это, разумеется, было нужно, мужчины же легче всего верили в эту ложь, когда она касалась их силы и неотразимости.

Отар думал о Дали и более всего хотел бы узнать, что таилось в ее душе. Что-то крайне неестественное чудилось ему в этой женщине. Она носила туфли на очень высоких каблуках и ходила крошечными шажками. Почему она выбрала именно такую походку? Почему не снимала с лица маски наивности, откуда у нее эти взвешенные, заученные, как у хорошей актрисы, движения? Что она скрывала за всем этим? Может, ничего? Разве знаешь, чего только не придумают женщины, лишь бы привлечь к себе внимание!

Он постарался не думать больше о Дали, вытащил оселок и стал отбивать косу. «Глаза!» — вдруг проговорил он вслух и улыбнулся, так как нашел наконец причину неестественности. «Эти красивые, усталые глаза принадлежат другой женщине, а их хозяйка старается выдать себя совсем за другую». Отару вдруг стало досадно: «Да что это я все о ней да о ней!»

Он так сильно размахивал косой, словно за свою растерянность именно с травой сводил счеты.

Вспомнил Левана. Смерть сына выбила почву из-под ног у полного сил мужчины, еще не насытившегося жизнью, он еще чего-то ждал, но смерть положила конец всему, и ожидание обернулось зловещей пустотой.

Отар прекрасно понимал, что сейчас, в эти тяжкие дни траура, необходимо было утихомирить вдруг застывшее, заговорившее каким-то чудом сердце, тем паче, что ему было, слава Богу, уже пятьдесят. Однако сердце не успокаивалось, и чем горше была потеря, тем слаще становилась запретная мечта о блаженстве — ведь в его доме стояло безмолвие, холодным ветром несло из всех углов. Жизненная сила же бурлила в нем, искала выхода, толкала к избавлению от незатиhaющей боли.

И Отар понял, что именно в этом была причина, начало, исток и его мыслей об этой женщине, и исток борьбы с этими мыслями. Дали звала его к жизни, призывала вновь влиться в тот хоровод, из которого его выбила смерть сына. Дали влекла к себе и обещала, обещала то, чего еще никто никогда не вкушал.

Тяжко пришлось Отару в этой схватке между разумом и чувством. Разум удерживал его, а чувство влекло, влекло с неслыханной силой. Отар сопротивлялся чувству, хотя разум снова и снова напоминал о том, что пора таких желаний заканчивается раньше, чем сама жизнь. Он и сам знал мужчин, которые жадно стремились успеть получить как можно больше, прежде чем этим желаниям придет конец. Но сам он к этому не привык и сейчас, в тяжелый для себя момент, изо всех сил старался подавить вдруг вспыхнувшую, поюношески нетерпеливую страсть.

Вот и не знал он, какое занятие себе придумать, как скоротать бесконечно долгие унылые дни. Отар понимал, что появление в его жизни этой женщины нарушило бы скучное однообразие будней, осветило бы сумрачный путь, хоть ненадолго превратило бы жалкое прозябание в полноценную жизнь. Но эти возможные изменения пугали его еще больше, он чувствовал, что может отказаться от того, что сулило не одно лишь наслаждение, тем более, что он был не один. Он старался выбросить мысли о Дали из головы, боялся менять уже установившийся образ жизни, разум требовал, чтобы он оставался таким же, каким был до сих пор, и дожидался без всякого волнения того дня, когда через десять или через пятнадцать лет пробьет его час, чтобы спокойно отправиться в свой последний путь, но теперь это желание было оттеснено другим, более сильным и властным.

Может, это и называлось любовью к жизни?

Может, это было бунтом против окончания личной жизни?

Отар понимал, что оставаться в том состоянии, в которое привела его смерть сына, значило приближаться к смерти. Сердце подсказывало, что надо бежать без оглядки от этой тишины, молчания, чтобы сохранить хотя бы один шанс на спасение. Он ведь и раньше испытывал нечто подобное. Тогда еще и о Дали он не думал, и никакой цели не преследовал. Сердце стеноло, но, видимо, инстинкт самосохранения вынуждал его не сдаваться, не уступать неутешному горю, держать себя в руках, следить за собой.



— Шла ссориться с тобой, а увидела — и заулы-
былась во весь рот, — Гаянэ крепко расцеловала Айю,
— люблю тебя, а за что — и сама не знаю!

Айя пригласила гостью в комнату, но та предпочла
остаться на балконе, вытащила из сумочки сложенный
вчетверо лист бумаги и сразу приступила к делу.

— Заявление тебе придется взять назад!

— Но я не могу больше работать, — помолчав, не-
громко, но твердо проговорила Айя.

— И ты мне это говоришь? — рассердилась Гаянэ.

— Просто не смогу...

— Подними голову, посмотри на мои морщины,
может, стыдно тебе станет, — так же сурово продолжала
Гаянэ.

— Значит, и вы меня не понимаете...

— И не хочу понимать! Я постарше тебя буду, а
работу не бросаю...

— Вы — совсем другое дело...

— Да какое другое! Обыкновенная старуха! —
вздохнула Гаянэ и шутливо добавила. — Ну, конечно,
не всегда я таким пугалом была...

— Что вы такое говорите...

— Хромой родилась, вместе с этой клюкой, — в ее
голосе звучала горечь, — знаешь, что это означало?
Без любви, без детей, всю жизнь... — она замолчала.

— Не старайтесь вызывать к себе жалость, не такой
вы человек...

— Знала бы ты, сколько слез я пролила, сколько
раз о смерти мечтала... Завидовала, всем завидовала —
красивым, стройным, тем, которых любили, которые
всем нравились... Я мечтала о том, чего мне недостава-
ло, и, ослепленная завистью, не замечала, что мозгов у
меня побольше, чем у моих красивых подружек. Учи-
тель у нас был, кстати, его Аполлоном звали, так он
говорил моим одноклассницам, вы, говорит, мизинца
Гаянэ не стоите. Вот он и заставил меня поверить, что
и я имею право на свою кроху счастья... Потом я поня-
ла, что счастье любит, чтобы его собственными руками
завоевывали, — Гаянэ рассмеялась. — Удивляешься, да?
Людям моего возраста надо верить, Айя, так уж жизнь
устроена.

— Да, но я не хочу...

— Все мы хотим, все ждем его, а оно само не приходит.

— Почему вы говорите мне это? — подозрительно спросила Айя.

Гаянэ, преодолев минутную растерянность, ответила:

— Просто рассказываю о своей жизни, как обиженная природой, я решила схватиться с судьбой, и победила ее, ты слышишь, победила!

— Так что же, подражать вам прикажете?

— Непременно!

— Не могу!

— Напугала тебя жизнь? Отступаешь? Замкнулась в своей скорлупе и думаешь, никто не доберется до тебя?.. Ничего больше не случится?

— А что еще может со мной случиться?

— Не дай Господь... Конечно, от судьбы не уйдешь, но и от жизни не спрячешься, поверь.

Айя встала.

— Сядь! Я еще не закончила. Или тебе уже невмogu меня слушать?

— Простите, уважаемая Гаянэ...

— Тогда я думала, что для женщины любовь и дети важнее всего, и я любила, любила не раз... — Гаянэ стукнула палкой об пол, как бы подтверждая сказанное. — Тот, кого я любила в последний раз, погиб на войне. В его память я усыновила двоих мальчиков — война еще не кончилась, когда я взяла их из детского дома. Оба — ты знаешь — любят меня как родную мать... Вот так, приукрасила и я свою судьбу, одолжив у других пудру и румяна.

Айя вымученно улыбнулась гостье.

— Так-так, милая, надо улыбаться, когда плакать хочется. Именно тогда смеяться надо!

— Вашему характеру можно позавидовать.

— Уж какая есть. Не возьми я себя в руки, плохо бы мне пришлось... А тебя, Айя, ждут в школе. Кому ты передашь своих девчонок и мальчишек?

— Я не смогу вернуться в школу, — тихо проговорила Айя.

— Я буду считать тебя эгоисткой и трусихой.

— Это здесь ни при чем. Я не смогу без любви...

— Ты уверена, что больше не любишь детей...

— Я уже никого не люблю.

— Настанет время никого не любить, когда и тебя по этому подъему понесут... — потеряв терпение, вскричала Гаянэ, угрожающе взмахнув палкой, но внезапно опомнилась. — Прости меня, вздорную, уж и не знаю, как говорить с тобой!

— Спасибо, что пришли, — после неловкой паузы заговорила Айя, — я все понимаю, но, поверьте, не могу...

— Сможешь! — прервала ее Гаянэ.

— Вы же знаете, школа для меня была не просто работа...

— Если бы не знала, не пришла к тебе.

— Но я уже не смогу работать, как раньше.

— Я не желаю слушать эти глупости! — Гаянэ встала. — Ждем тебя! — И она направилась к выходу.

— Извините, я даже не угостила вас ничем, — Айя проводила гостью до калитки.

Гаянэ остановилась.

— Ты в каком месяце рождена?

— В ноябре.

— А число?

— Двенадцатое.

«Скорпион», — подумала Гаянэ и, чтобы Айя ни о чем не спросила, поцеловала ее. Уходила она с тяжелым сердцем, сердилась на себя, что не сумела уговорить Айю. «Прав оказался Отар, — думала она, — эту женщину нелегко сломить... Не заслужила она такой страшной судьбы... А теперь в ней проснулся скорпион... Сама себя будет жалить, пока не погибнет. Господи! Хоть бы не была такой прямой и честной. И в горе — прямая и честная. Убил, убил ее Леван...» — Гаянэ невольно стала перебирать в памяти женщин, потерявших своих детей, но ни одну нельзя было поставить рядом с Айей. Она хорошо знала, что такое эгоизм, знала и то, что в большей или меньшей степени Бог оделяет всех этим чувством, и она почти не встречала людей, совершенно лишенных этого охранительного инстинкта. Гаянэ убедилась сейчас в том, что Айю спасла физическая выносливость, здоровый организм, который, правда, неизвестно сколько еще мог выдержать. Приб-

лижаясь к своему дому, Гаянэ уже думала, что не должна была отступать — надо было настоять на своем.

Визит Гаянэ выбил Айю из колеи. Она чувствовала, что на самом деле не могла с прежней любовью относиться к своему делу. Понимала и то, что Гаянэ любит ее, верит в нее, ведь не тот она человек, чтобы так приставать. «Зачем она рассказывала о себе — поди-ка, теперь разберись, что правда, а что ложь? Зачем ей понадобилось копаться в своем прошлом? Что она хотела этим доказать? Зачем ей нужно вытаскивать ее из дома, так ли позарез она необходима школе? Или еще есть какая-то причина? Тогда какая?» — спрашивала себя Айя и не находила ответа, сама раздражалась от своей подозрительности, стремлению во всем искать подвох. При этом она удивлялась, почему раньше не была такой, почему совсем не интересовалась тем, что для других было едва ли не главным смыслом жизни? Ясно, не до того ей было, ее вниманием целиком владели Отар и Леван, лишь к их дыханию она прислушивалась — все остальное было для нее лишено всякого интереса.

«Допустим, Гаянэ волнует судьба школы, но Отара?» — снова подняло голову сомнение. Айя вспомнила, что Отар никогда особенно не интересовался ее работой. Он ей не мешал, но особенно и не радовался, когда ей приходилось бежать на занятия. Иногда даже ворчал, что из-за этой школы она совсем забросила дом. А несколько дней назад, когда Айя сообщила ему о своем решении, он вдруг — прямо как ледяной водой ее окатил — запретил даже думать о том, чтобы оставить школу.

* * *

— Зимой Курше в деревянной будке холодно. У меня есть кирпичи, выстрою ей более основательное жилье, — сказал Отар, когда Айя вышла во двор посмотреть, чем это он там занимается; трудился он на совесть, чтобы скрыть от жены, что придумал все это, просто не зная, чем себя занять.

— Молодец, я сейчас тоже приду тебе помочь, — похвалила — тоже для вида — мужа Айя, заходя в дом.

— Захвати воды, Айя! — крикнул ей вслед Отар.

«Хватается за соломинку...» — подумала идущая к дому Айя.

А Отар продолжал рыть яму, значительно ^{глубже,} чем это нужно было для собачьей будки, словно вместе с кирпичами хотел похоронить свое только-только нарождающееся чувство, стремление к еще неясному, и время, то самое время, которое так мучительно медленно тянулось: В последние дни Отару особенно трудно было находиться дома. И не в том дело, что кто-то был ему неприятен или жена досаждала чем-то, нет, давила тишина, казалось, что сидит он в темнице, где нет ни воздуха, ни признака жизни. Ему же нужен был воздух, много воздуха, хотелось свободы. Когда глядел на жечу, становилось стыдно этого желания, он в душе корил себя, но внутренний голос креп, сопротивлялся, напоминая, что дарованное ему время еще не истекло и он должен был жить, чтобы получить все, ему лично предназначенное.

Едва рассветало, он убежал из дому туда, где чувствовал себя более независимо, сам распорядился собой и другими, но день сменялся ночью, наступало время, когда и птица возвращалась в свое узилище, где разговаривали, ужинали, иногда даже смеялись, но все равно — там царила мертвая тишина. Здесь, в этом опустевшем, разоренном смертью доме, ничто не радовало его сердце и глаз. Леван унес с собой их любовь, свалил опору их супружеского союза. И образовалась пустота... Некому было согреть сердце Айи и Отара, исцелить любовь, которая, как выяснилось, давно уже прихрамывала...

Мыслей о Дали он избегал, хотя она и так все время стояла у него перед глазами. Он по-прежнему ничего не знал о ней, ни у кого не мог спросить из-за крайней робости в такого рода делах, от которой не мог избавиться в течение всей своей жизни. По той же причине он не вызывал ее к себе, как начальник, и сам не заходил в бухгалтерию. Дали же, судя по всему, нарочно избегала его, словно уже выиграла пари и получила приз в виде его неотступных мыслей о ней, и затаилась во мраке, чтобы именно ему на глаза не попасться. Десять дней миновало с тех пор, как Дали принесла косарям воду, и лишь два раза Отар издали, мельком ви-

дел ее. И оба раза она была с Давидом, что не особенно было приятно Отару. В первый раз он видел их во время перерыва — они выходили вместе из конторы, а вчера после окончания рабочего дня — опять же вместе стояли во дворе. Давид что-то рассказывал женщине, и Отару показалось издали, что он явно с ней заигрывает. Заметил он и то, что Дали как будто порывалась уйти, а Давид ее не отпускал. А может, она сама не уходила? Давид глазами прямо лез ей за пазуху. Казалось, дай ему волю, он и руки в ход пустит. Отару не понравилась такая бесцеремонность, он отошел от окна, сел за стол и начал перебирать бумаги, однако сосредоточиться на деле ему не удалось, он вернулся к окну, но во дворе уже никого не было. Выбежав на крыльцо, Отар увидел, как они вместе, смеясь, шли вдоль по улице.

Означало ли что-нибудь то обстоятельство, что сотрудники вместе уходили с работы, или что, уединившись, болтали во дворе? Нет, разумеется, ничего особенного означать это не может. Думать-то он так думал, но на сердце все равно было тревожно.

Давид по крайней мере лет на десять был моложе Отара, и собой был недурен, но главная сила его заключалась в краснобайстве. Он так ловко умел вплести в свои цветистые речи откровенные или скрытые комплименты, столько умел наговорить приятного, что даже при первой встрече с человеком, истосковавшимся по дружескому общению, завораживал его, кружил голову. Особенно это качество проявлялось в служебных отношениях. Занятые общим делом, разные, не похожие друг на друга люди, которым, в общем-то, делить было нечего, тайно или явно все же соперничали, подкусывали друг друга, искали больное место, изъяны. Люди жили и трудились вместе, служили общему делу, а это скрытое или явно выраженное соперничество ослабляло когда-то существовавшую между ними дружескую связь.

Люди постепенно уставали друг от друга и лишь спустя изрядное время понимали, что зависть и раздражительность тоже не приносят удовлетворения, поэтому они, каждый в отдельности, мечтали о нежности, название которой еще помнили, а вот суть позабыли, изнуренные непрерывной схваткой с буднями. Нет, не

все, этого Отар утверждать бы не стал, но значительная, а то и большая часть людей испытывала нужду в доброте и тепле, вернуть которые было не так просто, как потерять.

Вот здесь и раскрывался талант Давида. Этот на редкость фальшивый человек источал столько мнимой благожелательности, что можно было только дивиться, как у него хватало на это сил. Некоторые считали, что он тотчас забывал о том, что говорил или обещал, но все равно, общение с ним доставляло людям удовольствие. Он был великим мастером примирений, и хотя многие понимали, что душа у него не болела ни за одних, ни за других, все-таки оставались довольными его вмешательством. Одни просто тянулись к нему — всегда пребывавшему в благодушном настроении, другие же старались ему подражать. И почти все с удовлетворением принимали его участие, то фарисейское сочувствие, которое так украшало жизнь, как радуга украшает очистившееся после грозы небо.

— На что вам нужны его пустые слова? — спрашивали скептики.

— На безрыбье и рак рыба, — отвечали одни.

— Утопающий и за соломинку хватается, хотя и знает, что она его не удержит, — оправдывались другие.

— Слезы осушит, улыбкой подбодрит — и на том спасибо, а породниться с нами и он не обещает, да и мы не рвемся, — объясняли третьи.

Давид чувствовал, что свою роль играет прекрасно, и на скептиков внимания не обращал. Если замечал, что кто-то отводит глаза в сторону, избегает его, сторонится, и для таких находил добрые слова, не требуя в ответ благодарности. Шел дальше своей дорогой. Он так привык к этой роли, что она превратилась для него в потребность, он уже не мог жить по-другому, тем паче, что знал — каждый человек в этой жизни играл какую-нибудь роль, и всем другим ролям он лично предпочитал эту.

Отар терпеть не мог этого свойства Давида, возможно, потому, что сам был скуп на слово, больше чувствовал, чем умел выразить. Конечно, очень может быть, что вчера, беседуя с Дали, Давид, просто, по обыкно-

вению, играл свою роль, хотел утешить одинокую красотку.

В общем, не по душе пришлась Отару дружба Дали с Давидом, поэтому, как только почтальон доставил из столицы письмо с предложением отправить одного из сотрудников на курсы повышения квалификации, он, не раздумывая, вызвал Давида, послал его на четыре месяца развлекать и утешать новое окружение.

...Будку для Курши Отар строил дотемна, почти на метр поднял над фундаментом с четырех сторон кирпичные стены и остался доволен вдвойне: за делом вроде он не заметил, как день прошел, и любимую собаку вознаграждал за верность. Потом он помылся, поужинал, вместе с внуком сходил к роднику за водой, а когда вся деревня затихла, лег спать.

Айя и Отар долго лежали молча, ни один из них не спал, но лежали они безмолвно и неподвижно, отдавшись во власть мучительных мыслей. Эта тягостная тишина, невозможность высказать то, что их терзало, еще более отдаляли друг от друга, и казалось, будто лежат они в разных углах комнаты.

«Не нужна я ему больше... Не нуждается он в моей ласке, тепле...» — думала Айя.

А Отар, погруженный в полудрему, прислушивался к биению сердца, заглушавшему, как ему казалось, чей-то далекий зов. Этот голос, невнятный, таинственный, манил за собой, и он был готов идти за ним, но тут внезапно глухой зов срывался в пропасть, и вместо желанного облегчения Отар вновь ощущал беспокойный стук сердца.

«Любовь... Господи, как давно я не вспоминал этого слова... Серые будни опустошают и это прекрасное слово так же, как самого человека», — думала Айя.

И снова далекий, возрождающий надежду голос звал его в неизвестность.

«Наверное, он любит меня... Как вещь, к которой привык, которая всегда при нем, обогревает, кормит, скрашивает одиночество», — думала Айя.

А Отар опять слышал таинственный голос, на сей раз более отчетливо и ясно. «Иду... иду...» — мысленно отозвался он и даже приподнял голову с подушки, но тут Айя зашевелилась, и...

— Ты не спишь? — спросил он у жены.

— Нет, — тихо ответила она.

Чуть помешкав, Отар повернулся к жене, обнял ее и привлек к себе. Тело женщины подчинилось его сильным рукам и прильнуло к его груди, однако Отар ничего при этом не ощутил.

Айя чувствовала сильное горячее дыхание мужа, прикосновение губ, у нее закружилась голова, и она прикрыла глаза.

Отар целовал ее, но желание не просыпалось в нем.

Внезапно Айя открыла глаза. Привыкшая в последнее время к подавлению всего плотского, она не могла простить себе этой минутной слабости. «Мой сын лежит в земле, а я...» — упрекнула она себя.

— Нет, Отар! — твердо сказала она, пытаюсь высвободиться из сильных объятий мужа.

— Айя! — в голосе Отара звучала мольба, он не отпускал ее, потому что скорее хотел испытать себя, чем овладеть телом жены, тем более, что мысли его по-прежнему где-то витали, а чувства по-прежнему дремали.

— Нет! — сопротивлялась Айя. — Я не могу... — Теперь в ее голосе звучала мольба, она вскочила с постели, и Отар вздохнул с облегчением, словно скинув с плеч тяжелую ношу.

Новая мысль завладела сознанием: почему вдруг знакомое и когда-то столь любимое тело жены вдруг представилось ему высохшим от старости, корявым деревом? Почему, прикасаясь к ней, не ощущал он дрожи, почему не закипала кровь в жилах? Почему не внимала его плоть зову ее плоти, что разрушило этот, как думалось раньше, прочный союз? Время? Время или рассудок? Или оба вместе. Может, время без помощи рассудка оказалось бы бессильным в борьбе с многолетним супружеским союзом? Он думал об Айе и понимал, что главной причиной был он сам, его необъяснимое душевное смятение, которое не только разрушило этот, казалось бы, прочный союз, а пошло еще дальше, притворилось глухим, подавило внутренний голос, чтобы он не доходил до Айи.

Знал ли это Отар? Понимал, но не хотел знать, особенно сейчас.

Как только он остался один, снова услышал дале-

кий желанный голос. Он весь обратился в слух. Голос постепенно приближался, увлекая его за собой.

Айя спустилась вниз. Она была недовольна собой. Чувствовала, что сама была источником этих сложностей, которые она не хотела углублять, но после обрушившегося на нее горя она больше не могла управлять своими эмоциями, ее утомила борьба с горем и с собственным сердцем. Она старалась принудить себя смириться с судьбой, но сила протеста, сопротивления всему, связанному с жизнью, одерживала верх, с ней справиться она не могла. Поэтому часто не соизмеряла тех или иных своих поступков с их возможными последствиями. Еще чаще предпочитала молчать, чтобы не досаждало окружающим. Очень скоро она так привыкла к своей замкнутости, молчанию и одиночеству, что не заметила, как вообще потеряла желание и способность общаться с людьми. Более всего огорчало ее то, что даже Отару — самому близкому и дорогому человеку — она не могла открыть душу, как прежде, не могла рассказать о своих мыслях и чувствах.

Почему?


Если раньше им нечего было друг от друга скрывать, то отчего теперь лишилась она дара речи? Айя старалась не думать о том, что их взаимному отчуждению способствовал также и Отар. Ей не было свойственно, оправдывая себя, преувеличивать вину другого, и сейчас она искала причину в себе самой. Хотя и чувствовала нечто, сама еще не зная, куда ее это предчувствие приведет, но верила своему чутью и ощущала еще большую скованность. «Разве одним упрямством объясняется мое поведение?.. Я просто не могу даже думать о наслаждении, но понял ли Отар истинную причину?.. Как по-разному устроены женщины и мужчины. И голос разума, и чувства — все у них непохоже», — думала Айя, в душе осуждая ту животную страсть, которая даже в минуту горя продолжала жить в мужчинах так же, как в минуту радости. Но она старалась не забывать и о том, что таким создала мужчину природа, и неважно — нравилось ей это или не нравилось — должно быть, так было нужно. Необходимость сама по себе оправдывала и мужчину и месившего глину Создателя, который, как казалось Айе, заботился прежде всего о себе, когда

мозг и тело человека создавал по своему образу и по-
добию, стремясь к умножению рода человеческого, без
которого этот цветущий и плодоносящий мир превратил-
ся бы в пустое ничто.

Эти мысли заставили Айю обратиться к себе, к своему характеру, который в последнее время изменился так, что она сама с трудом узнавала себя. Куда подевались ее всегдашняя мягкость, непосредственность, способность заразительно смеяться? Куда ушли те времена, когда они с подружками — только покажи им палец! — начинали так хохотать, что лица светлели, словно осиянные солнцем, смеялись счастливым смехом по какому-нибудь пустячному поводу, либо вообще без повода... Неужели во всем виновато время? Неужели прибавляющиеся с годами морщины непременно должны лишать человека права на беззаботный смех? Она вспоминала те времена, когда была молода, ходила в одном ситцевом платьишке, была не очень избалована вниманием родителей, да и скромному домику бабушки мало кто мог позавидовать, но она все равно радовалась жизни, утомленная тяжелой работой, все равно готова была смеяться, надеяться, мечтать.

В памяти Айи вспыхивали различные эпизоды — каждый вспоминала она с любовью, каждый приносил столь желанное, хотя, увы, недолгое облегчение. Ей от радно было путешествовать, углубляться в свое прошлое, которое по сравнению с настоящим казалось таким мирным и беспечальным, что расставаться с ним не хотелось.

Самой большой мечтой Айи было довести искусство, унаследованное от бабушки, искусной акушерки-самоучки до уровня полноценного медицинского образования. Ей очень этого хотелось. Хотелось быть настоящим врачом, чтобы во время какого-либо осложнения не теряться и не бледнеть, как это случалось с бабушкой. Она чувствовала, что ей лучше и быстрее, чем бабушке, удастся сблизиться с роженицей, завоевать ее доверие, развеять страх смерти. В глубине души она этим гордилась, сама бесстрашная и быстрая. В такие минуты она как-то преображалась, становилась совсем другой, ее хрупкое тело и руки обретали силу. Ей говорили слова благодарности, и это окрыляло ее. Она мечтала



помочь появлению на свет тысяче и десяткам тысяч детей, пусть победоносный крик новорожденных услышит вся земля... Она постоянно мечтала об этом великом благе, до которого, по ее убеждению, было рукой подать, но, как выяснилось, ей не суждено было даже приблизиться к нему.

...В комнате царило безмолвие. Уткнувшись в подушку, Отар старался вновь услышать тот таинственный голос, то единственное утешение, которое еще сулило надежду на лучшую долю. В этом ожидании он, неосознанно углубившись в воспоминания, набрел на родительский дом, и сразу ожил тот безрадостный период его жизни, о котором он даже думать избегал, гнал прочь мысли о нем. Не раз он пытался похоронить эти картины прошлого навсегда, но не сумел даже забыть пройденный шаг за шагом путь, забыть то, что звалось его прошлым и с чем, наверное, ему никогда не удастся распрощаться, как бы сильно он этого не хотел.

Желание забыть свое отрочество и юность было связано с ненавистью, которую вызывал в нем отец. Этот человек, чья кровь кипела в жилах Отара и довольно часто давала о себе знать, был широкоплечим, словно борец, сильным и красивым. В деревне Отар не раз слышал о том, как хорош его отец собой, но похоже, что Создатель позаботился лишь о внешности Луки, совершенно позабыв о внутренней сущности, или нарочно так изуродовал его душу, что рядом с ним никто не мог оставаться подолгу.

Кроме себя самого, он никого не любил и, разумеется, ни о ком не помнил. Настолько он был неприветлив и неласков, что ни один родственник, родные братья и сестры с ним не уживались, а собака — куда уж дальше! — собака, привязанная возле калитки, и та никогда не кидалась ему в ноги. Запуганные домочадцы — Отар и его мать — дышать боялись в его присутствии, он вечно попрекал их куском хлеба, брюзжал, кричал без всякой причины, поколачивал, при этом требуя, чтобы голоса их не было слышно — не хотел, чтобы соседи знали, что творится за стенами их дома. Зато с посторонними он был на диво любезен, особенно с теми, кого не любил или побаивался, держался предельно учтиво, никогда не забывал расспросить о здоровье близких, пе-



редать привет семье. Тем самым, по его мнению, он вводил людей в заблуждение, скрывал свою к ним ненависть или страх, сам — коварный хитрец, он не ошибался, знал, что имеет дело с пройдохами, не верящими ни одному его слову, но продолжал расточать ласковые слова и улыбки, ибо считал, что так легче добивается своего.


Когда ребята с восторгом рассказывали о силе и ловкости своих отцов, Отар обычно отмалчивался или незаметно исчезал, ибо лгать ему было стыдно, а хвастаться было нечем. Вместо детского, слепого восхищения в его душе угнездилась ненависть к отцу. В этом возрасте ему — как и его сверстникам — нужна была отцовская любовь, ему хотелось гордиться отцом, сидеть на его сильных плечах, получать от него подарки ко дню рождения, но он ничего не помнил, кроме пинков и тычков, хотя и не знал, чем заслужил столь грубое обращение.

Отару было двенадцать лет, когда он впервые стал свидетелем его «геройства». В деревне была установлена строгая очередность на поливку виноградников. В тот день отец поднял его чуть свет, велел перебросить воду на их участок, а сам вместе с женой остался прочищать канавки между рядами лоз. Не прошло и получаса, как вода вдруг прекратилась. Лука, перекинув через плечо тляпку, поспешил к источнику, недобрым словом помятая того, кто посмел перекрыть воду. Отар последовал за отцом, в надежде увидеть, как сильный Лука проучит того нахала, который не посчитался с правилами, установленными в деревне. Но надежды его не оправдались — отец не только не замахнулся тляпкой на нарушителя закона, но даже не посмел отругать его и более того — не заступился за сына, который получил от соседа крепкий пинок под зад за то, что, потрясенный трусостью отца, стал бросать в него камни. Слезы бессилия, пролитые в тот день, смыли из души мальчика весь страх перед отцом, до сих пор гнездившийся там пополам с ненавистью. Теперь оставалась одна ненависть, жгучая ненависть. К ней добавилось еще и то, что, когда Отару было 15 лет, дядюшка, брат отца, сказал ему: отец тебя не хотел и трехдневного отдал другим, но мать так убивалась, что тебя вернули обратно. Отар раньше ничего не знал об этом. У дядюшки вооб-

ще-то язык был поганый, и он так ненавидел брата, что Отар решил — конечно же, тот врет. Даже у матери не посмел спросить. Собственно, зная характер Луки, слова дяди вполне можно было принять на веру, но мальчику не хотелось огорчать и без того доведенную до предела мать. Даже если это все не так, отец для него давно перестал существовать, и было уже все равно, собирался он когда-то отдавать его чужим людям или нет.

Всю свою любовь Отар перенес на мать. Он любил ее и жалел. И чем сильнее ненавидел отца, тем больше привязывался к матери. Часто, уже взрослым парнем, он заставлял мать, беззвучно плакавшей горькими слезами после оскорбительных побоев, часто сам плакал, забившись в угол сарая, сознавая свое бессилие, невозможность справиться с отцом, обезумевшим, ничего перед собой не видящим, подобно сорвавшемуся с привязи разъяренному быку. Когда Отар вырос и обрел силу, достаточную, чтобы дать отцу отпор, Лука перестал устраивать безобразные дебоши в семье. Но матери от этого легче не стало. Правда, побаиваясь сына, Лука больше не бил ее, но придумал новый способ истязания: в свои сорок два года притворился тяжело больным и целый год пролежал в постели.

Несчастливая женщина совсем высохла от невысказанных страданий, Отар не смел в глаза ей взглянуть, понимая весь ужас ее положения. В душе он желал отцу смерти, но тщательно это скрывал, ибо не хотел отравлять матери и без того несладкую жизнь — ведь она фанатично обожала Луку, ради него готова была на все, не побоялась бы хищнику в пасть угодить, лишь бы ему было хорошо. В юности Отар мог только дивиться такому поведению матери, он не понимал, чем так поработил ее этот человек, но когда он повзрослел, полюбил сам, стал мужем и отцом, постиг все тонкости супружеской жизни, и тогда все равно не смог признать ее правоты. Между ними разница-то была всего в одно поколение, и Отар эти каких-нибудь двадцать лет не считал такой уж огромной дистанцией, которая так меняла психологию и вообще представление о жизни, меняла настолько, что оказалось невозможным понять чувства родителей и объяснить себе их поведение. Тем более, и тогда и потом он встречал множество супружеских




пар, чья совместная жизнь давно превратилась во взаимное недовольство или неприязнь. Такие супруги легко изменяли друг другу, ничего и никого не стеснялись, если речь шла о высвобождении из-под супружеского ярма, они, не задумываясь, готовы были разрушить семью и, не моргнув глазом, извалить друг друга в грязи. Мать терпела все, но во имя чего? Искушая какую вину? Этого Отар так и не смог уяснить себе — ни тогда, ни потом. Во время службы в армии, особенно в первые месяцы, он долго копался в жизни своих родителей, не упуская ни одной мелочи, старался строго и беспристрастно судить обоих, но, кроме рабской покорности, ничего не мог вменить матери в вину.

Его любовь к матери не была ни слепой, ни инстинктивной. Почти ежедневно общаясь с матерями своих сверстников, он научился — насколько это было доступно тринадцати-четырнадцатилетнему подростку — распознавать их характер, природу, и среди всех свою мать считал особенной. И теперь, и прежде он много раз считал слишком субъективным такой взгляд, но, с другой стороны, не мог припомнить ни одной женщины, в которой было бы столько доброты и нежности, сколько подарило провидение его матери.

О, какой желанной была эта любовь! Тогда, в отрочестве, возможно, он и не постиг бы сути материнской любви, если бы по соседству не жила одна семья, сравнительно недавно обретшая приют в деревне. Ютились они в одной комнатухе с земляным полом. Роза работала в столовой, возвращалась домой поздно и обычно приводила с собой захмелевшего от вина и любви гостя. Гости эти довольно часто менялись, и пока Зурико (так звали сына Розы) не исполнилось девяти лет, о ее грехах знали лишь соседи. Но вот однажды ночью деревенский околоток был разбужен скандалом между матерью и сыном. Оказывается, незаметно для всех подросший Зурико вышвырнул за дверь очередного поклонника. Тот, естественно, возмущенный дерзостью сопливого мальчишки, надавал ему хорошенько. Роза и Зурико умудрялись, ссорясь между собой, одновременно отбиваться от подвыпившего кавалера.

Соседи слышали, как бранился гость, как Роза уговаривала сына отпереть дверь, и только под утро уснули обозленные, возненавидевшие друг друга мать и сын.



Некоторое время Розу сдерживало воспоминание об этом скандале, но вскоре появлялся новый припозднившийся клиент, и снова начиналась драка — Зурико не впускал в дом того, кто оскорблял его сыновние чувства. На следующее утро после очередной ссоры Отар непременно подходил к забору, чтобы еще раз увидеть, как ласково беседуют только что не на жизнь, а на смерть разругавшиеся мать и сын, сколько нежности было в их взгляде, голосе, словно ничего и не произошло ночью и никогда больше не появится ночной гость, нарушивший их взаимное доверие. Отар любил наблюдать за соседями после ночного скандала, ибо наутро особое сияние источала их любовь — и материнская, и сыновняя. Он любил Зурико, рано повзрослевшего без отца, Зурико, безмерно, безгранично любившего свою мать.

И раньше, и потом Отар пытался найти объяснение в богобоязненности матери. Он думал, что религиозное чувство помогало ей так стойко сносить страдания, но временное облегчение, вызванное не очень убедительным этим оправданием, довольно быстро рушилось под натиском необъяснимого и не имеющего никакого оправдания ни перед Богом, ни перед сыном поступка — самоубийства матери.

Лука несколько раз в году уходил из дома и отсутствовал целыми месяцами. Перед уходом он непременно устраивал скандал, чтобы до своего возвращения держать в страхе жену и сына. Никто не знал, куда он уходил и зачем, никто и не спрашивал его об этом. После возвращения из одной из таких отлучек Отар случайно оказался свидетелем родительской ссоры. Тогда впервые в жизни он услышал, как мать повысила голос. Отара, вошедшего в комнату, она попросила не вмешиваться в их дела и пойти прогуляться. Отар послушался. Не прошло и получаса, как он увидел отца, идущего с кем-то по дороге. Когда отец скрылся из глаз, Отар вернулся домой. Мать стирала на балконе и выглядела как будто успокоившейся, хотя избегала разговора с сыном — почувствовав это, Отар не стал ни о чем ее спрашивать. Через некоторое время Отар увидел, как мать развешивает на веревке выстиранное белье, чулки, нарядное платье. Потом она намазала сажей, сня-

той мокрой тряпкой со дна чугунной сковороды, туфли из сыромятной кожи и выставила их сушить на солнце. Затем она подмела двор и тщательно прибралась в доме. Вечером вернулся Лука, потребовал есть, но мать даже бровью не повела. Лука, ничего не сказав, сам достал из стенного шкафчика хлеб, сыр и зелень, поел в одиночестве. Отар готовил уроки, мать гладила высохшее белье. Отар время от времени поглядывал на мать и тотчас, напуганный ее молчанием, опускал глаза... Какой-то чересчур спокойной она была, с погасшим взором, механически водила утюгом или глядела в темное пространство за окном.

Ни о чем не сказало тогда сыну лицо матери, а могло, наверное, сказать о многом, если бы он был повнимательней. Однако с детства привыкший к ее постоянной сумрачности — ведь он не в первый раз видел ее в таком настроении—Отар не придал этому значения. Обычно у матери лицо светлело лишь при встрече с сыном, в другое же время губы ее были плотно сжаты, особенно, если Лука метался в поисках повода для ссоры.

Да как ему в голову могло прийти, что на следующее утро он увидит мать мертвой. Знал бы... Позже, спустя много времени, вспоминая глаза матери, он понял, что она, затевая стирку, уже была мертва, твердо решила умереть, и поэтому готовила себе чистое белье. Утром Отар увидел на стуле с одеждой сложенный вчетверо тетрадный лист. На первой строчке было единственное слово — прости.

Мать нашли в запертом изнутри сарае, наверное, она боялась, что ей может не хватить сил выполнить задуманное, боялась, что вдруг выбежит в последнюю минуту во двор, позовет на помощь, поэтому она отрезала себе все пути к отступлению. Когда Отар выломал дверь сарая, его встретила мертвая тишина. На сене лежала завернутая в белое полотно одежда, приготовленная накануне. В одном углу валялась пустая литровая банка с бирюзовыми высохшими разводами на дне и стенках, а мать он нашел в другом углу — она сидела, скорчившись, и на лице ее застыла гримаса боли от сожженных купоросом внутренностей. Видимо, смерть при-



шла с таким же опозданием, как всю жизнь опаздывали к ней радость и счастье, обходя ее стороной.

Отару было тогда семнадцать лет.

Стояла поздняя весна.

Он похоронил мать, сложил кладбищенскую ограду из речных камней. Закончив школу, явился в военкомат и попросил отправить его на военную службу. Четыре года он ничего не знал о своем доме. Порой возникала мысль остаться в воинской части насовсем, но, отслужив срок, он все же вернулся домой.

Отца он нашел полным сил — Лука женился, имел дочку. Отар думал, что проведенного вдали от дома времени будет достаточно для того, чтобы переварить ненависть к отцу, но когда он снова увидел насмешливые, узкие, всегда опущенные книзу глаза Луки, то понял, что к прежнему чувству прибавилась еще и горечь, вызванная самоубийством матери, и отвращение его к отцу стало теперь в десять раз сильнее. Поэтому он не остался у него, хотя и Лука, и мачеха долго упрашивали его, и прежде чем решить, что делать дальше, Отар поселился у одинокой старушки на другом конце села.

* * *

«Это тебе, Леван!» — про себя проговорила Айя и поставила на стол тарелку с едой, потом налила из кувшина в стакан красное вино, положила рядом с прибором кусок хлеба и зажгла свечу, укрепленную в маленьком подсвечнике. Она долго смотрела на тарелку, на хлеб и еду, и постепенно у нее светлело лицо, словно она с любовью наблюдала, как ест вернувшийся с работы сын.

Мысль о Леване успокаивала Айю. Конечно, она знала, что тщетно все — и унаследованные от предков древние ритуалы, верования, но в то же время чувствовала, что ей необходимо нечто, связывающее ее с ушедшим в вечность сыном. Больше никогда не сможет она приготовить ему вкусной еды, не постелит ему белоснежной постели. Айя пыталась обмануть себя, ибо трудно, невыносимо тяжело было оставаться лицом к лицу с реальностью.

Эту короткую идиллию нарушила вошедшая в комнату Нана.

Айя сразу отметила про себя, что на невестке чересчур открытое, неподобающее трауру, тесно облегающее фигуру платье. Она даже вспомнила это телесного цвета платье, которое Нана успела надеть всего несколько раз.

Сейчас, под стать настроению хозяйки, платье было выкрашено в черный цвет, что, впрочем, еще больше подчеркивало свежесть и красоту молодой женщины.

Внезапно Айю охватила жалость к невестке, хотя отнюдь не обрадовало ее неожиданное появление, да еще в столь неподобающем виде.

Нана окинула взглядом накрытый стол, прибор Левана, зажженную свечу и не в силах скрыть раздражение, равнодушно спросила свекровь:

— Неужели вы действительно считаете, что Леван все еще в чем-то нуждается?

Айя ответила спокойно, но с нажимом:

— Леван жив.

Нана, не сдержавшись, рассмеялась:

— Жив и голоден, так я понимаю? — спросила она.

Айя повернулась к ней спиной, давая понять, что не желает с ней разговаривать.

— Леван умер, умер!.. — закричала Нана. — Должны же вы это понять в конце концов!

— Левана просто нет с нами... — спокойно отозвалась Айя.

— Леван мертв! — снова крикнула Нана.

— Человек жив до тех пор, пока его помнят и любят... — негромко проговорила Айя.

Наступила тягостная тишина. Айя, опустив голову, ждала, чтобы Нана либо вышла из комнаты, либо начала есть, однако невестка стояла как вкопанная и это делало еще более невыносимой давящую тишину.

Ледяное молчание было нарушено звуками, напоминавшими конское ржание, в комнате появился Отар с внуком на плечах. Гио напевал: «Гоп-гоп-гоп, моя лошадка...»

Отар галопом проскакал вокруг стола, доставив огромное удовольствие ребенку: мальчик смеялся, Отар убыстрял темп «скачки» и вскоре уже и сам хохотал вместе с внуком.

После смерти сына Айя впервые слышала смех Ота-

ра, она вся напряглась и долго не могла отвести от него глаз, ей хотелось понять — предназначался ли этот смех лишь для внука, или самому Отару было весело. Совсем нетрудно было убедиться, что адресованные внуку смех и игра не противоречили настроению самого Отара. Айя поняла это в первые же мгновения, как только взглянула на мужа. Горький ком подкатил к ее горлу, отчаянно закружилась голова.

Нана, в отличие от Отара, сразу поняла, как неприятен Айе веселый смех, и тотчас присоединилась к играющим. Теперь хохотали все трое, громко, весело, беззаботно.

Айя перевела взгляд на невестку, но вид ее смеющегося лица был невыносим для нее, она снова посмотрела на мужа — Отар лежал на полу и на груди у него восседал Гио.

Увлеченные игрой, они, казалось, вовсе забыли об Айе, а она не сводила с них глаз, твердя про себя с ожесточением и горечью: «И ты забыл его... И у тебя больше не болит душа о несчастном сыне...»

Нана, заметив выражение лица свекрови, в душе испугалась, но виду не подала, снова рассмеялась — ей назло, еще громче, еще веселее. Айя вперила в невестку взгляд, в котором было столько гнева и возмущения, что та не выдержала, сдалась. Вздогнула, словно от пощечины, поспешно подняла с пола сына и проговорила громко, чтобы слышал Отар.

— Обед стынет.

Отар поднялся с пола и подошел к столу.

— Ступайте мыть руки! — строго распорядилась Айя.

Отар только сейчас взглянул на жену, чей тон и вид совершенно очевидно осуждал их неуместную веселость. Отар молча вышел из столовой, Гио последовал за ним.

Оставшиеся вдвоем Нана и Айя, не глядя друг на друга, сидели молча, хотя думали об одном и том же.

Вернувшись в комнату, Отар сел на свое место, налил из кувшина вино сначала Нане, потом Айе, в конце наполнил и свой стакан.

Айя разложила еду по тарелкам.

Отар тотчас с аппетитом принялся за еду, ни на кого не обращая внимания.

Нана сидела неподвижно.

Айя, намочив в вине кусочек хлеба¹, поднесла его ко рту.

Нане казалось, что свекровь не сводит с нее глаз. Но дело было в другом — в приборе, стоявшем прямо напротив нее, и в горящей свече.

«Я ненавижу тебя. И зря ты думаешь, что я вслед за твоим сыном уйду в землю, зря!..» — мысленно спорила со свекровью Нана.

«Отчего же тебя так обделил Создатель? — думала о невестке Айя. — Тем более ты заслуживаешь жалости еще и потому, что горевать не способна... У тебя нет сердца...»

Отар, прервав еду, поднял стакан, сказал коротко — «будем здоровы!» — и снова вернулся к еде.

Айя не сводила глаз с тарелки Левана.

Нана, сделав над собой усилие, потянулась было за стаканом, но сразу отдернула руку обратно. Эта нерешительность еще больше испортила ей настроение, окончательно вывела из равновесия.

Отар закончил есть и только теперь заметил, что Нана не прикоснулась к еде.

— Почему ты не ешь, Нана? — спросил он у невестки.

Нана, бросив взгляд на тарелку Левана, закричала: — Не могу! — и выбежала из комнаты.

Отар и Айя переглянулись. Отар опять прочел в глазах жены скрытый упрек. Он встал, хотел подойти к ней, но этот холодный взгляд остановил его.

Айя тоже встала и вышла из комнаты.

Отар последовал за нею на кухню, обнял за плечи, повернул к себе.

Глаза их снова встретились. Все лицо Отара, казалось, вопрошало: в чем я провинился? Этот вопрос окончательно вывел Айю из себя.

— Как быстро ты забыл сына! — упрекнула она мужа.

— Память заключается не в ритуалах, — обрезал разозленный Отар.

— Но и не в хохоте! — почти закричала Айя.

¹ Поминальный обряд.



— Смех не означает забвение.

— Так не смеются, когда людям больно.

— У вас и на это есть мерка?

— Да, и на это, на все есть мерка!

— Ты превратила нашу жизнь в ад...

— Вам она кажется адом, потому что сердца ваши ликут, вам весело, вы думаете только о себе и не хотите омрачать настроение мыслями об умершем...

— Не говори глупостей!

— И за что вы так любите себя, несчастные? А, за что? — Айя взглянула прямо в глаза Отару.

— И на это ты тоже хочешь получить ответ?

— Хочу... Хочу знать, что вы представляете из себя, чего добиваетесь, чему радуетесь?!

Отар некоторое время смотрел на разъяренное лицо жены, с запавшими, окруженными синевой глазами и, ничего не ответив, вышел из дома.

Оставшись в одиночестве, Айя не находила себе места. Понимала, что необходимо чем-то заняться, чтобы успокоиться, вынесла посуду на кухню и принялась ее мыть.

Мысли Айи сначала крутились вокруг Отара и Наны, потом она стала думать о своей бабушке. Перед ее глазами встал образ этой многострадальной женщины. Мысленно она обошла вместе с нею их дом и двор и вдруг явственно услышала слова, давно, очень давно сказанные старушкой: «Господь печется о совершенстве нашей души, потому и посылает нам испытания».

Может, поэтому вспомнились ей сейчас эти слова, что в последнее время испытаний не приходилось дожидаться. Айя чувствовала, что явившись однажды, горести не скоро покинут их кров. Они прибыли, словно незваные гости, изгнали из стен надежду, сами вольготно расположились, как в родном доме, стали распорядиться всем и всеми и бдительно следить за остальными, оступись кто — они нагрянут тотчас, прихватив с собой новые и новые испытания, тяжкие, мучительные, радуясь своему могуществу и безнаказанности. Так кто же ниспосылал эти страдания или что считать совершенством духа? Сколько лет нужно для этих испытаний? Десятки лет? А может, больше? Может, все время, оставшееся до разлуки души с телом? А если еще больше?..

Этим мыслям не видно было конца. И покоя душе они, естественно, не приносили.

Айя ждала.. Ждала постоянно. То, чего она ждала, мучало ее, но того леденящего ужаса, который опалил ее раньше, она больше не ощущала, источник этого кошмара высох, иссяк.

* * *

— Дали! — глухо прозвучало за дверью.

Дали отворила сразу, потому что стояла там же, рядом. Однако, отворив дверь, от неожиданности она лишилась дара речи. Никак не ждала, представить себе не могла, что Отар придет к ней.

— Не вступишь меня? — спросил Отар.

Дали почувствовала в его голосе напряжение, хотя на лице играла беззаботная улыбка.

Отар, чтобы скрыть неловкость, сел на стул.

Дали села напротив, улыбнулась.

— Я как во сне... — помолчав, проговорила она.

— Ты удивлена?

— Я не ждала тебя.

— Потому я и пришел, — Отар улыбнулся.

Дали чувствовала, как ее постепенно охватывает волнение, справиться с которым она уже не могла.

— Только не говори, что лю... — шутливым тоном начала она, но не хватило духу закончить фразу, выражение лица гостя остановило ее.

Отар понял, что она хотела сказать, и после затянувшейся паузы ответил:

— Я не думал об этом.

Дали насупилась.

— Я... — снова начал Отар и умолк.

Дали поняла, что надо брать инициативу в свои руки.

— Ты понял, что нравишься мне, и поэтому пришел. Так? — спросила она.

Отар поднял голову, посмотрел ей прямо в глаза.

— Но ты многим у нас нравишься — значит, и к ним ходишь? — продолжала Дали.

Отар молча кивнул.

— Не умеешь ты за женщинами ухаживать! Надо

было сказать — нет, мне нужна ты одна, — натянута улыбнулась Дали.

Отар так же натянута улыбнулся в ответ.

— Какой ты стеснительный... В такие минуты мужчины становятся на колени и обещают женщинам весь мир...

— Я пойду, пожалуй, — Отар двинулся к выходу.

— Обмани меня... Скажи, что я хотя бы нравлюсь тебе, — вслед ему сказала Дали.

Отар остановился.

— В другой раз...

— Скажи сейчас... — в голосе ее звучала мольба, но подойти близко она не решалась. — Разве так трудно солгать?

— Дали... — начал было Отар, но осекся и надолго замолчал.

— Неужели ты пришел лишь потому, что дома тебя ничего не удерживает, а идти больше некуда?

Слова Дали показались ему странными. Он и сейчас не знал, что сказать этой незнакомой, в общем-то, женщине, которая влекла его так же, как влечет пламя свечи ночную бабочку. Он тянул — по причине, неясной ему самому. Эта женщина распалила его и одновременно сковывала.

— Вина выпьешь или водки? — вдруг спросила Дали.

— Водки, — тихо сказал Отар.

Дали прошла совсем близко, он ощутил нежный приятный аромат ее тела и, когда она возвращалась с бутылкой и рюмками, он обнял ее за талию и притянул к себе.

Дали вызывающе рассмеялась и, высвободившись из его объятий, сказала:

— Господи, каких только картин не рисует человеческое воображение... Разве я могла подумать, что ты окажешься таким?

— А каким я тебе представлялся?

— Не могу сказать... — Дали протянула ему рюмку с водкой. — Твое здоровье! — Она залпом осушила рюмку и, раскрыв рот, жадно вдохнула воздух.

Отар молча кивнул и выпил.

— Еще налить? — спросила Дали.

Отар протянул ей рюмку.

— За тебя! — Он опрокинул рюмку.

Дали чувствовала, как Отар постепенно расковывался, но он еще не был свободен окончательно. Она удивлялась несходству его с другими мужчинами. Он молчал, выпив две рюмки водки, другие же и трезвые болтали без умолку, торопясь очаровать, соблазнить женщину, любой ценой добиться своего. Может, он от того и молчал, что для него сам приход сюда уже о многом — если не обо всем — говорил. Может, одно только его появление должно было осчастливить Дали, ведь она давно мечтала о том дне, когда сможет уснуть у него на плече, когда он заставит ее забыть всех мужчин, до него существовавших в ее жизни. Но когда этот день вдруг так неожиданно нагрянул, у нее вдруг появилось желание услышать от него какие-то слова, что-то хотя бы приблизительно похожее на надежду, хотя бы одно словечко, чтобы она больше не чувствовала себя потаскухой, чтобы изменилось все — ее лицо, адрес, образ жизни, чтобы она превратилась в неприступную красавицу, к которой не посмеет ломиться ночью любой подгулявший мужчина. Дали прекрасно знала себе цену, но сейчас, перед этим, столь желанным ее сердцу человеком, ей хотелось смыть всю грязь, налипшую на ее тело за эти годы.

Отар улыбнулся, но ничего не говорил женщине, так страстно желавшей услышать от него то, что принято говорить в таких случаях.

«Неужели ничего не стоят шесть месяцев воздержания в этой деревушке», — не без досады задавала себе вопрос Дали.

— Что ж, спасибо за угощение, — наконец произнес Отар, вставая.

«Погоди, потерпи еще немного... Раз он пришел однажды, непременно придет еще», — уговаривала сама себя Дали, но не могла справиться ни с чувствами, ни с языком. Ей казалось, что если Отар сейчас ускользнет, то больше никогда она его не заполучит.

— И больше тебе нечего сказать? — вырвался у нее упрек, и не соображая, что делает, она преградила ему путь, поглядела каким-то обезумевшим взглядом и,

сама не отдавая себе отчета, прижав руки к груди, вдруг взмолилась: — Не уходи!

А он, словно этого как раз и ждал, обхватил руками ее плечи и притянул к себе, она прижалась к нему всем телом и тихонько заплакала. Почувствовав влагу на щеках, сама удивилась, что не разучилась, оказывается, плакать. Плакала она не для того, чтобы вызвать у него жалость, а от счастья. В объятиях этого желанного, но такого скованного почему-то мужчины она впервые в жизни мечтала не оступить, не позволить себе ничего лишнего, не выдать себя ни словом, ни жестом. Дали не знала, откуда вдруг возникло это желание. Никогда раньше ничего подобного не приходило ей в голову, даже и мысли такой не возникало, что ее слова или поведение кому-то могут не понравиться, показаться предосудительными. А вот сейчас она волновалась, словно шла на экзамен, где имела право ответить всего один раз и непременно на отлично. Видимо, эту робость внушал ей Отар. Наверно, любовь к нему заставила ее со стороны взглянуть на свою жизнь, увидеть все заново, взвесить все, что называлось ее судьбой до сих пор, и то, что сулила ей близость Отара. Ведь она не знала еще ни его характера, ни мужских достоинств, которые прежде ценила превыше всего. Теперь же все это потеряло для нее свою привлекательность, мечтой об Отаре она была полна вся — эта мечта переполняла ее разум и чувства. Вполне возможно, что Отар уступал тем молодым парням, которых она знала раньше, но жажда близости с ним повергла во мрак забвения всех остальных, и во мраке сияло лишь одно нестерпимое желание — быть рядом с ним, слышать его дыхание.

Дали чувствовала, что нравится Отару, упивалась мыслью о новизне ощущений, с непривычной для себя нежностью лелеяла эту мысль и, надо признать, старалась стать другой. Поэтому она боролась со своим прошлым, собственными привычками. Она давно вынесла своей душе смертный приговор, но никак не могла убить ее, ибо шлюхи, оказывается, подобно кошкам, имеют по меньшей мере девять душ и невероятно живучи. Когда она думала об Отаре, пройденная жизнь казалась ей проклятым прошлым, которое сделало ее душу такой



грубой, так ожесточило ее, что избитая незадолго до приезда сюда случайным любовником, она даже заплакать не смогла, хотя очень хотела опять почувствовать себя человеком.

— Славная ты, оказывается, — сказал Отар, вытирая ладонями слезы с ее щек.

Нежно заколебались забытые струны души Дали, но справиться со своей истинной сутью ей все же не удалось, не смогла она усыпить ее, несмотря на огромные старания, не заставила удовлетвориться визитом долгожданного мужчины, не смогла совладать с потребностью сегодня же, сию же минуту получить все.

— Говорят, что нельзя открывать мужчинам своего сердца, — сказала Дали и отстранилась от Отара, отстранилась лишь для того, чтобы тотчас, в тот же миг, прижаться к нему еще крепче.

Дали сделала шаг в сторону постели, но остановилась и сказала:

— Я давно уже сплю вместе с тобой, вместе с тобой встаю... Когда болею, ты ухаживаешь за мной...

Отар улыбнулся смущенно, недоверчиво.

— Не веришь? — спросила Дали, доставая из-под подушки мужскую пижаму. — Твоя пижама... Она заменяет мне тебя.

Отар весело рассмеялся от неожиданности.

* * *

«Даже пообедать не дала спокойно...» — корила себя Айя, расстилая постель и взбивая подушку Отара то с одной, то с другой стороны.

Было уже за полночь, а Отар все не возвращался. Айя разделась и легла, откинув руку на половину мужа, подумала: «Вместо того, чтобы приласкать, ругаю... Замучила попреками... Придет, извинюсь за все...»

* * *

— Ты уходишь? — спросила сквозь сон Дали, когда Отар, поднявшись с кровати, стал одеваться.

— Да.

— Поздно...

— Поздно, — повторил Отар, потянувшись за рубашкой.

Дали встала, накинула на плечи халат и включила ночник, заливший красноватым светом стены и потолок комнаты. Дали подошла к Отару и будто бы помогая ему одеваться, прикосновением к его телу постаралась выразить полное удовлетворение.

— У тебя пуговица оторвалась, давай пришью, — Дали направилась за иголкой.

— Нет! — так решительно возразил Отар, что Дали застыла на месте.

— Не бойся, я пришью так, что Айя не догадается, — со скрытой иронией в голосе проговорила Дали.

— Айю никогда больше не упоминай, — процедил сквозь зубы Отар.

Дали прикусила язык. Отар тоже молчал, хотя и продолжал стоять посреди комнаты.

— Тебя эта ночь ни к чему не обязывает, Отар... И мою шутку насчет пижамы всерьез не принимай... — Чтобы скрыть волнение, Дали повернулась к Отару спиной... — Может, эта пижама вообще... принадлежит другому мужчине...

Отар молча вышел из комнаты.

* * *

— Уже три часа. — Айя выключила свет. Ей больше не хотелось встретить мужа бодрствующей, да и на-трудившуюся за день, ее, естественно, клонило ко сну.

...Ей снилось, будто лежит она на его руке, а он, зарывшись лицом в ее волосы и шею, шепчет: «Ты, одна ты осталась моим утешением...»

Айя лежала неподвижно, слушала исповедь мужа, но не постигала до конца смысла слов, ибо слова лишены были смысла.

А Отар как будто снова повторял: «Ты, одна ты мое утешение...» До Айи не доходили эти слова, ибо сердце ее больше не билось, она умерла.

Даже в полудреме содрогнулась она от страха перед смертью, попыталась пошевелить головой, руками, но тело никак не освобождалось от ощущения смерти.

Ей казалось, что Отар опять обнимает ее, но не говорит, а кричит «кукареку»...

Когда она очнулась от мучительного кошмара, в окно уже заглядывала рассветная белизна, и петухи оглушали криком окрестность.

Айя взглянула на Отара. Он безмятежно спал, и судя по выражению лица, видел самые приятные сны. Айя смотрела на мужа и про себя повторяла услышанные во сне слова. «Все слова лгут... Одна-единственная правда — в молчании», — подумала Айя, поднимаясь с постели.

* * *

— Айя! — донесся снизу голос Отара.

Айя вздрогнула, хотя не ответила и не встала со стула.

Прошло какое-то время, прежде чем Отар поднялся на второй этаж, открыл дверь и спокойно проговорил:

— Ты опоздаешь.

Айя сидела, слегка согнувшись, уронив руки на колени.

Отар подошел к жене, обнял ее, поднял со стула.

Взгляд Айи, казалось, молил о том, чтобы ее оставили в покое, но она без слов покорилась требованию мужа.

Отар, взяв со стола сумку, вышел следом за женой.

Накануне они опять спорили, выходить ли Айе на работу. Отар видел, что жене не хочется никого видеть, не хочется выходить из дому. И все же он упорно подчинял ее своей воле. Он чувствовал себя виноватым перед женой, ибо сам нашел способ как оживить свою жизнь, нашел и обеими руками вцепился в мечту о будущем, Айя же не искала ничего и мысли не допускала, что можно что-то искать. Отара, конечно, тревожила судьба Айи; он понимал, что пребывание в четырех стенах окончательно погубит ее, и без того уже полумертвую. Ему трудно было это представить, и он старался что-то предпринять. Поэтому и обратился за помощью к Гаянэ, да и сам не жалел усилий, прямо-таки вынудил Айю первого сентября выйти на работу.

Они молча шли по главной улице, и впереди и сзади маленькими стайками торопились к школе деревенские мальчишки и девчонки.

— Вот бы нам сейчас их годы, не хочется тебе вернуться в детство, вот так же спешить в школу? — спросил Отар.



— Нет, — коротко ответила Айя.
— А я бы хотел...
— Хочешь все пройти сначала, начиная с детских лет?

— А ты думаешь, повторится то же, что и было?

— Если ты останешься тем, чем был и есть, тебе придется еще раз пройти тот путь, который ты уже однажды прошел...

— Может, что-то все-таки изменится? Не забывай, они живут в лучшее время.

— Кто-то, наверное, и на то время не жаловался.

— Значит, ты веришь в судьбу?

— Гаянэ говорит, что мы сами вершим свою судьбу.

— Разумеется, мы сами...

— Все может быть...

Они вышли на площадь — дальше их пути разошлись.

— Проводить тебя? — спросил Отар.

— Нет, нет.

— Ну, давай, смелее!

Айя кивнула и несколько шагов сделала довольно уверенно, как вдруг ее охватил страх. Сначала невнятно, обрывочно, а потом все яснее зазвучала похоронная музыка. Айя, зажав руками уши, пошла быстрее. Музыка зазвучала громче. Айя побежала...

Бегом пересекла она гомонящий школьный двор и очутилась в таком же шумном коридоре. Дети бегали, бросали друг в друга портфели, падали, вставали, натыкались друг на друга, кричали. Айя с трудом добралась до конца коридора, откуда вела лестница на улицу. Здесь было сравнительно тихо, голоса детей доносились глухо, но Айя, не останавливаясь, продолжала бежать к дому.

Ее догнал школьный звонок. На миг он приостановил ее бег, но только на миг — и тотчас раздался голос совести, очень развитое чувство ответственности заставило Айю усомниться в правильности своего поведения. «Что делать? — подумала она. — В чем виноваты дети?» Думать-то она так думала, но ноги продолжали нести ее вперед, хотя в походке не было прежней твердости.

Айя остановилась. Перестал звонить школьный звонок, и она остановилась, правда, опять на одно лишь мгновение. Школьный двор внезапно опустел и затих. Но Айе и эта тишина показалась зловещей. Прежде ее пугал шум, сейчас — тишина. И она устремилась к дому.

* * *

— Гио! — издали окликнула Айя внука, увидев, как мальчик выбежал со двора, огляделся по сторонам и быстро вернулся обратно. Бабушку он не заметил и окрика ее не услышал. Не прошло и двух минут, как Гио снова показался в воротах, снова поглядел вправо-влево и опять скрылся во дворе. Айю он опять не заметил. Она поняла внука, что-то тревожило его, и пошла быстрее. Когда Гио появился в третий раз, Айя снова окликнула его, и тогда он кинулся к ней с громким плачем.

— Мама... Мама уезжает... — всхлипывая, проговорил он.

«Ну вот, и этот день наступил, — подумала Айя. — Как мне удержать ее? — она подняла мальчика на руки. — В ноги кинуться, умолять...»

Гио продолжал реветь. Айя оставила его с соседскими ребятами, а сама поднялась на второй этаж, в комнату Наны.

Нана складывала вещи в два раскрытых чемодана. Заметила появление свекрови, однако, виду не подала, как ни в чем не бывало продолжала свое занятие. Айя стояла молча, ждала, когда невестка заговорит.

— Уезжаю, еду в Тбилиси... насовсем... — после долгого молчания бросила Нана.

— Нана, доченька, но как ты справишься, ведь там у тебя никого нет? — спокойно проговорила Айя.

Нана с насмешкой посмотрела на свекровь, словно говоря: «Нет, так будет».

— Здесь у тебя семья, дом! — осторожно продолжала Айя. — Может, лучше остаться?

— В этой глуши? Ни за что! Я ради Левана с трудом терпела, теперь же, когда его больше нет...

— Нана, но ты ведь выросла в селе, почему же тебе так трудно тут жить? У тебя есть ребенок, работа...

— Не начинай все сначала!..

— Даже у свекра не хочешь совета спросить?

— Нет, уезжаю — и все!

От волнения у Айи в голове путались мысли, она не знала, что сказать, что придумать такого, что могло бы удержать сноху.

— Женщине полагается оплакать мужа... — начала было опять Айя, но Нана бесцеремонно прервала ее.

— Оплачу, как смогу... — она с шумом захлопнула крышку чемодана... — Гио я оставляю, ненадолго... Устроюсь и заберу его.

— Гио я тебе не отдам! — вырвалось у Айи, она прикусила язык и, помолчав, проговорила умоляюще: — Ты же знаешь...

— Меня это не касается! — снова прервала ее Нана. — Я уже сказала: устроюсь и заберу!

Терпенье у Айи лопнуло. Она повысила голос.

— А Гио тебе зачем? От одной обузы ты избавилась, теперь хочешь и вторую сбросить с плеч.

— Оставь меня в покое! — снова закричала Нана, ударив ногой по закрытому чемодану.

«Отар!.. Надо сообщить Отару», — подумала Айя, ибо убедилась, что бессильна перед упрямством невестки. Она поспешно покинула дом и побежала по узкому проселку между изгородями. «С Отаром она считается... Ему не посмеет так отвечать... Не посмеет позорить его семью... Он заставит ее вернуться».

Показалось здание фермы. Айя попридержала шаг — сердце и без того колотилось от быстрого бега, дышать было тяжело. Она прошла совсем немного и увидела Отара — он стоял в глубине поля, за провололочной оградой, окруженный конями. Айя обрадовалась и крикнула:

— Отар! — Но он не услышал, очевидно, поглощенный своим занятием — чистил коня.

Айя подошла к ограде, поднесла руки ко рту, но прежде чем окликнуть мужа во второй раз, заметила, что он пристально куда-то смотрит. Айя проследила за его взглядом и увидела светловолосую женщину, которая улыбалась ее мужу, выглядывая из-под единственной в табуна белой лошади.

Отар снял халат, кинул его на круп стоявшего рядом коня и направился к женщине сильным, уверенным шагом...



У Айи перехватило дыхание.

Она повернулась и побежала к дому. На бегу чувствовала, как холодело тело, иссякали силы, мутилось в голове, но она все равно не останавливалась, думала лишь об одном — подалее уйти от этого проклятого места.

Айя остановилась на минуту, чтобы перевести дух, она была не в состоянии больше сделать ни шагу, села на краю дороги, зажав уши руками, чтобы как-нибудь заглушить ритмичный стук молота по наковальне, громким эхом отдававшийся в ее голове. Едва успев вздохнуть с облегчением оттого, что этот звук удалось немного приглушить, Айя вдруг услышала плач Гио. Она даже увидела его, осиротевшего, потерявшего сначала отца, а потом и мать, беспомощно льющего слезы. Это зрелище в мгновение ока подняло ее на ноги. «Быстрее! Быстрее...» — подбадривала себя Айя и продолжала бежать, низко опустив голову. В одном месте, перепрыгивая через яму, она вынуждена была поднять голову, и тотчас перед глазами вырос нарисованный на столбе высокого напряжения череп. Айя вздрогнула от неожиданности, но не остановилась и больше не поднимала головы, хотя перед ее взором по-прежнему плясали, выстроившись в ряд, огромные, внушающие ужас черепа. Айя не могла больше видеть это, свернув с тропки, она углубилась в колючий кустарник.

На дороге показался грузовик, везущий колхозных девчат. Айя знала, что как только односельчане увидят ее, начнут звать в машину. Чтобы укрыться от них, Айя бросилась к старой, заброшенной церкви, вбежала было в притвор с обрушившейся кровлей, но у входа споткнулась и упала.

Звук падения напугал гнездившихся в храме птиц, но Айя не увидела взлета птиц, так же, как не почувствовала боли; она лежала среди трав и камней, упавших сверху, и не хотела вставать. К действительности ее вернул теленок, укрывавшийся в церкви от жары и лизнувший ей руку. Теленок не испугался, только смотрел на нее большими печальными глазами, и Айе показалось, что так грустно, словно моля о жалости, кто-то еще на нее смотрел. Только она не могла вспомнить — кто. Память ее сейчас была занята поисками ответа на

этот вопрос. Айя наконец вспомнила — так смотрела на нее Тамро в том далеком прошлом, о котором она давно забыла. Вспомнила и, испуганная непонятно чем, выбежала из древней, с обвалившейся кровлей, церкви, из стен, лишь на миг даровавших ей облегчение.

Айя остановилась возле своих ворот. Из дома доносилась веселая музыка. Не понимая, что тут происходит, Айя вошла в коридор и заглянула в комнату. Гио и его друзья — мальчишки-близнецы и их сестра — сидели за накрытым белой скатертью столом, перед ними стояло по бутылке лимонада, в руке каждый держал по куску хлеба. Гремела включенная на полную громкость радиоло. Девочка встала и принялась танцевать, ребята, чокнувшись бутылками, тянули прямо из горлышка лимонад.

Унылый вид Гио — грустное лицо и глаза — достаточно ясно говорили, для чего понадобилось ему приглашать в гости друзей и включать музыку. Айя не стала входить в комнату, она присела на стул в ожидании, что дети сами ее заметят.

— Бабушка Аико, у нас гости! — в нарочито бодром голосе Гио звучало предупреждение — смотри, дескать, не возмущайся, не позорь меня перед друзьями!

Девочка выключила радиолу. Мальчишки смущенно встали у стены.

Айя улыбнулась.

Гио сразу осмелел, гости тоже почувствовали себя увереннее.

— Кутить так кутить! — сказала Айя. — Помогите-ка мне накрыть на стол! — обратилась она к детям, направляясь в кухню.

...Дети бросились помогать ей.

— Гио, принеси лимонад из марани, — крикнула Айя внуку и тут же повернулась к девочке: — А ты, Нино, достань бокалы из буфета.

Нино подошла к буфету, встала на стул и вытащила бокалы, однако, спускаясь со стула, она уронила и разбила один бокал.

На шум прибежали мальчишки.

Перепуганная Нино заплакала.

— Почему ты плачешь, девочка? — с улыбкой спросила подоспевшая из кухни Айя.

— Она бокал разбила, — пояснил брат Нино.

— Это пустяки, — улыбнулась Айя. — Не плачь, дорогая, — приласкала она девочку, которая все же не переставала плакать, всхлипывала, языком слизывая крупные слезы.

— Какие крупные у тебя слезы, — наклонилась к девочке Айя. — Не плачь. Хочешь, я тоже разобью? — не дожидаясь ответа, она подошла к буфету, вытащила бокал и бросила его на пол. За первым — второй, за вторым — третий...

Айя с силой разбивала бокалы об пол, при этом слезы бороздили ее лицо с застывшей неподвижной улыбкой. Айя смотрела на детей, но не видела их. Перед ее глазами мерцали лица Наны и Отара.

Гио изумленно таращился на все растущую перед Айей гору осколков и никак не мог взять в толк, что делала бабушка. Он даже подошел и подергал ее за подол. Сначала Айя не заметила первого предупреждения внука, с прежней яростью била все, что попадалось под руку, но когда Гио во второй раз попытался ее отрезать, она остановилась, только сейчас увидела удивленные лица детей — если судить по этим лицам, она и впрямь сотворила что-то невысказанное. Потом она перевела взгляд на гору осколков, потом снова посмотрела на детей и при виде улыбающейся сквозь слезы мордашки Нино истерически захохотала. Дети весело захохотали следом, они прямо лопались от смеха, твердо веря, что Айя разбила столько посуды, желая их насмешить.

Айя так же внезапно прекратила смеяться, как и начала, и, помолчав, громко произнесла:

— А теперь давайте кутить до утра!

В тот вечер Гио уснул поздно. Айя, подоткнув внуку одеяло, пошла в спальню, сменила постельное белье Отару, положила подушку на середину кровати и только собралась вернуться в комнату внука с одеялом и подушкой в руках, как Отар открыл дверь. Мгновенно заметив одну подушку на широкой двуспальной постели, он почувствовал некоторую досаду. Но виду не подал и без особого усилия улыбнулся жене.

Айя некоторое время испытующе смотрела на мужа, но, почувствовав, что от природы правдивому Отару

ру трудно смотреть ей в глаза, она сжалась над ним и сказала:

— Нана уехала...

Отар так и вспыхнул. От гнева губ не мог разомкнуть.

— И Гио забрала? — спросил он, взяв себя в руки.

— Гио оставила... На время.

— Почему не спросила нас?

— Не сочла нужным.

— Что сказала, где будет жить?

— Ничего не сказала. Сложила чемоданы и уехала.

— Ты должна была сразу же мне сообщить.

— ...Тебе?

— Да; сообщить, что она уезжает.

Айя подняла голову, поглядела на Отара долгим, испытующим взглядом.

— Почему не сообщила? — повторил свой вопрос Отар.

Айя замолчала. В растерянности подошла к кровати, провела рукой, словно поправляя одеяло, и поскольку Отар ждал ответа, заставила себя заговорить:

— Ты же знаешь ее характер: то, что задумала, сделает непременно, чего бы ей это ни стоило.

— Завтра же утром я поеду в Тбилиси, даже если весь город придется перевернуть, найду ее и привезу домой.

— Не советую.

— Почему мы должны проглотить это издевательство?

— Это не издевательство. Просто здесь ее больше ничего не удерживало. Вот она и ушла.

— Надо было подождать, с нами посоветоваться.

— Она заранее знала все, что мы могли ей сказать.

— Тем более. Надо было посчитаться с памятью покойного мужа.

Айя снова посмотрела на Отара и поднесла руки ко рту, чтобы сдержать рвущийся из груди крик.

Отар понял — она что-то скрывала от него.

Она долго молчала.

— Она некрасиво с нами поступила, но я ее не ви-

ню... Она молода... Может, еще устроит свою жизнь, наконец заговорила Айя, еще раз взглянула на мужа и вышла в комнату Гио.

Ее слова удивили Отара. Он никак не ожидал, что Айя будет оправдывать Нану. Он хорошо знал, что Айя только лишь осуждала этот шаг невестки, но не признавала за ней вину. «Может, слова осуждения она подкинула мне?» — думал Отар.

— Я пойду спать к Гио... — сказала вернувшаяся в спальню Айя. Она опять испытующе поглядела на мужа.

— Да... Да... — рассеянно откликнулся Отар.

— Ужинать будешь?

— Я сам, ты ложись, — в его голосе звучали неподдельная забота и ласка.

Айя взглянула на Отара и сама удивилась той любви, которая светилась в глазах мужа. Она даже растерялась от неожиданности, помешкала, снова подняла голову — он продолжал смотреть на нее все с той же нежностью.

Пожалуй, сейчас Отар и в самом деле не притворялся. Он любил Айю. Только не знал, можно ли называть это чувство любовью или это было что-то другое.

Взгляд Отара всколыхнул в сердце Айи сомнение в том, в чем сегодня она, казалось, уже окончательно уверилась. Она еще больше растерялась, быстро повернулась и спустилась вниз, на первый этаж.

Отар ужинал. Айя сидела на своем обычном месте. Она чувствовала, что Отар думает о чем-то, и не хотела ему мешать.

Отар и на сей раз вернулся от Дали. Не привыкший к упрекам жены, сейчас он, пожалуй, предпочитал, чтобы она сказала что-нибудь обидное, резкое, может, тогда не грызло бы его так мучительно раскаяние.

Чуткость и внимание жены были особенно приятны Отару, утолившему свою страсть с Дали. Впрочем, так Айя поступала и раньше. Поднималась с постели, чтобы накормить ужином припозднившегося супруга, однако сегодняшней ее поступок Отар вдруг увидел совсем другими глазами — его собственная вина делала особенно привлекательной преданность ни в чем не виноватой Айи.

Отар даже решил, что непременно забудет Дали (сейчас об этом думалось довольно легко), вернется к семье и к жене. Нынешнее спокойствие придавало ему уверенности, он вновь захотел мирной, не замутненной ложью жизни.

— Посиди немного со мной, — попросил он жену, когда она встала, чтобы унести грязную посуду на кухню.

Айя села.

Отар накрыл ее руку своей.

— Как изменилась наша жизнь... — проговорил он.

Айя не ответила.

— Так хочется... — продолжал он, вставая и совсем близко подходя к Айе... — хочется прежнего тепла, того, что всегда царило в нашей семье.

Айя вопросительно взглянула на него.

— Жизнь требует от живых своего, Айя...

— Я не знаю, как мне жить дальше.

— Время все поставит на свои места...

Айя встала, отошла подальше, ответила сухо:

— Ты слишком легко ко всему привыкаешь...

— Что мы можем изменить... кто воскресит нам нашего сына?

— Никто... Меня другое мучит — Господь на него возложил наши несчетные грехи.

— Какие грехи?

— Она напомнила о себе, Отар... Это она... Тамро.

— Тамро? При чем здесь Тамро?

— До сих пор у нас все не было времени, чтобы подумать об этой несчастной.

— Зря ты копаешься в прошлом!

— На этом прошлом строилось наше будущее. За мое необдуманное «да», за ту радость пришла пора платить... Поздно пришла она за долгом, но все же пришла... Но почему, почему она взяла самое дорогое?

— Какая связь между смертью Левана и Тамро?

— Мы тогда думали, что наша любовь оправдывает все... А оказалось...

— Это твоя фантазия. — Отар подошел, ласково погладил жену по волосам, бережно, осторожно прижал к груди. — Смотри на жизнь немного проще. — Он хотел сказать что-нибудь приятное, но именно сейчас ра-



зум словно отказался служить ему, он никак не мог подобрать нужных слов. Он притянул Айю еще ближе, прикоснулся губами к ее шее. — Моя самая красивая... — прошептал он и лишь потом сообразил, что повторил сейчас когда-то давно сказанные слова... — самая красивая, — опять произнес он шепотом после небольшой паузы и вдруг почувствовал, как громко прозвучали эти слова. Оказывается, они еще живы, а он столько времени не произносил их, даже не помнил об их существовании.

Он ощутил прилив внезапной радости, как будто надежда вернулась к нему.

Он поцеловал Айю. Сначала нерешительно, потом смелее, так хотелось испытать прежнее острое желание, ощутить Айю своею, очиститься от того, что жизнь явила ему в образе Дали.

Отар осторожно уложил Айю на тахту, начал расстегивать воротник ее платья.

Айя замерла на мгновение — рука Отара коснулась ее груди, и стало трудно дышать. С еще большей яростью приник Отар к жене, осыпал ее поцелуями, изо всех сил пытаясь вернуть то желание, которое всего час назад бушевало в нем, словно разлившаяся река. Но тщетно! Тело жены не будило в нем никаких чувств.

Айя сопротивлялась, пыталась встать, но убедившись, что не может вырваться, взмолилась:

— Отпусти меня!

Обескураженный тщетностью своих усилий, Отар, которому прежде искреннее или притворное сопротивление доставляло особое наслаждение, на сей раз разозлился не на шутку.

— Но ты моя жена... — процедил он сквозь зубы.

— Я мертва, Отар... — Голос Айи был глух и безжизнен.

Отар встал, повернулся к жене спиной.

Айя с трудом поднялась, тяжело ступая, не оглядываясь, вышла из комнаты.

Отар прилег на тахту, глаза устремил в потолок. Слова Айи озадачили его. В памяти начали внезапно всплывать и так же внезапно исчезать полузабытые лица. Оживали те, кого он встречал в юности по прихо-

ти превратной судьбы и, закрученный водоворотом жизни, вскоре забывал.

Отар вдруг ясно увидел нежное, продолговатое лицо Тамро. Вспомнил, как после военной службы вернулся в родную деревню, обратил внимание на девушку, прежде он и знаком-то с ней толком не был. Тамро была моложе, и до ухода в армию он, пожалуй, и не разговаривал с ней ни разу. Но теперь, повзрослевшая и трогательная в своей нежной женственности, она запала ему в душу, тем более, что, как ему вскоре донесли сельские кумушки, она тоже была в него влюблена. Отара эти слухи не удивили, он сам чувствовал, что приглянулся девушке. Но досужие языки не успокаивались — теперь судачили о том, что бабушка Тамро помещена в Сурамский сумасшедший дом. Правда, Отар на эти сплетни внимания не обращал. Сама Тамро ему нравилась — порядочная девушка, и семья хорошая. Несколько встреч — и молодые люди подружились. У Тамро оказался мягкий, беззлобный характер, и главное, она все время старалась, чем могла, угодить Отару. В ее больших медовых глазах всегда светилась безграничная любовь. Отар часто думал о Тамро, но не ощущал к ней особого чувства — просто она ему нравилась, не больше. Образно говоря, солнце Тамро не грело Отара, а ему, перешагнувшему порог двадцатидвухлетия, необходимо было палящее солнце, которое прожигало бы насквозь.

...Айе тоже не спалось. Лежа рядом с Гио, она тоже думала о Тамро и ее тоже влекли за собой воспоминания юности.

И вспомнилось Айе:

...Стояла масленица.

Айя издали наблюдала за тем, как весело раскачивались на качелях Тамро и Отар. Отар с силой раскачивал качели. Счастливая Тамро смеялась, ее длинные красивые волосы трепал ветер. Вот Отар схватил эти волосы и притянул Тамро к себе, чтобы поцеловать...

Айя смотрела на влюбленную пару и представляла себе, как по частям распадаются качели, как, оставшись без опоры, падают на землю счастливые любовники.



Но перепуганное лицо Тамро огорчает Айю, ...По-прежнему взлетают вверх и вниз на качелях Отар и Тамро. Отар ласкает длинные шелковистые волосы.

Тамро хохочет.

И вспомнил Отар:

Ехал он верхом вдоль берега реки. В реке купалась Тамро. Отар соскочил с коня, разделся, вошел в воду.

Сначала при виде Отара Тамро испугалась, но виду не подала. Потихоньку двинулась к берегу, но заметив, что Отар стоит и ждет, чтобы она заговорила первой, почувствовала себя уверенней. Тогда впервые Отар заметил такое свойство характера Тамро: бескорыстная самоотдача была ей присуща, чего не было у многих, и в том числе у Отара. Уж очень разошлась Тамро, то ли на радостях, что преодолела страх, то ли по какой другой причине. Отар дивился неожиданной смелости, столь не свойственной этой хрупкой, застенчивой и робкой девушке. Однако понимал он и то, что с другим бы она ни за что не повела себя так.

Во время игры Отар поцеловал ее.

— Ты любишь меня? — спросила счастливая Тамро.

Отар вместо ответа потянулся к ее губам.

— Я могу ради тебя с собой покончить! — сказала Тамро, когда долгий поцелуй наконец прервался.

Отар как-то неловко, недоверчиво усмехнулся и нырнул...

И вспомнила Айя:

Спелые колосья стражей окружали горы зерна.

Тамро сидела возле стога и старательно расчесывала красивые длинные волосы.

С серпом в руке появилась Айя, увидела мечтательное лицо Тамро, как упивается она красотой своих волос.

И представила Айя:

Что неслышно, со спины подбирается она к Тамро и серпом срезает ее волосы.

Горько плачет Тамро.

Айя снова взяла волосы в охапку и теперь срезала их возле самых корней, развеяла по ветру.

Тамро зарыдала в отчаянии, потянулась за уплывающими волосами.

Айя приблизилась к Тамро, растрепала ее гладко причесанные волосы.

И вспомнил Отар:

Он напоил коней, выкупал и погнал их к стоянке жнецов, откуда доносилось пение. Привязав коней, он неслышно подкрался к тому месту, где отдыхали его сверстники, утомленные жатвой на солнцепеке. Пели все, кроме Айи. Она сидела поодаль, слушала песню, обратив лицо к луне. Она казалась грустной. Отар следил за ее тайной беседой с луной и вдруг заметил, как удивительно Айя похожа на его мать. Это сходство растревожило его. Он буквально не мог оторвать от нее глаз, и чем дальше вглядывался в ее облик, тем больше сходства находил со своей матерью. Его охватила грусть, но вместе с тем ощутил он и радость, почувствовал такой прилив чувств, такую их полноту, словно мать и вправду ожила. Взбудораженный этим открытием, он и сам не знал, откуда вдруг пришло решение никогда не расставаться с этой нежной печальной девушкой, которая, как выяснилось, жила по соседству, он же до сих пор не замечал ее.

Отар подошел поближе и сел.

Айя улыбнулась ему...

И вспомнила Айя:

Едва лишь солнце разбудило землю, Айя вышла из своей палатки и принялась бегать босиком по росистой траве.

Свежесть раннего утра и сияние солнечных лучей, пробравшихся в заросли деревьев, пролили свет в ее душу. Этот свет коснулся той струны, звучание которой слышала она одна. Она протянула руки к солнцу, и неожиданно для себя самой начала плясать. Она так изгибалась, делала столь непонятные себе самой движения, словно молила солнце поселиться в ее теле, согреть то сердце, в котором мог бы вместиться весь мир, но пока в нем запечатлелся облик одного-единственного человека. Но Айя не могла признаться в этом чувстве, пока этот образ сам не протянет ей руку.



Поглощенную танцем Айю вернуло к реальности конское ржание. Она увидела, что Отар, забыв о лошадях, смотрит на нее. Она так испугалась, как будто Отар увидел ее нагой, или проник в тайну, которую она тщательно скрывала.

Увидела Айя, Отар направляется к ней, а она по-прежнему стоит, как замороженная. Поглощенная мечтами о нем, Айя не смогла ни заговорить с ним, ни находиться рядом — впрочем, она и без слов могла выдать себя с головой.

Отар подошел совсем близко.

Айя убежала.

Отар побежал за ней.

Айя вскочила на лошадь и поскакала.

Отар погнался за нею, оседлав другую лошадь.

Они долго мчались по лесу и лугу.

И вспомнил Отар:

Кончив работу, молодежь перебрасывалась шутками. Девушки готовы были хохотать над каждым словом парней, а те, соревнуясь друг с другом в остроумии, балагурили наперебой.

— Кто будет выбирать самую красивую среди нас?
— спросила вдруг одна девушка.

Отар вышел вперед.

Девушка завязала ему глаза и шепнула на ухо:

— Тамро я поставлю справа от тебя, ты понял — справа!

Пять девушек выстроились в ряд перед Отаром. Среди них Айя и Тамро.

Парни подтолкнули Отара вперед:

— Ну-ка, ступай, выбери самую красивую!

Отар сделал первый шаг.

Айя отделилась от подруг и пошла в сторону поля.

Отар приближался к девушкам.

Ребята зашумели.

Девушки, затаив дыхание, стояли и ждали.

...Айя успела отойти довольно далеко.

Отар удалялся от Тамро. Одна из девушек поставила ее на свое место, прямо перед Отаром. Но он, как нарочно, прошел мимо, направляясь в сторону Айи.

Айя стояла спиной ко всем, дожидаясь конца игры.

Отар тоже оставил всех позади и все ближе подходил к Айе.

Ребята приумолкли. Во все глаза следили за происходящим.

И вспомнила Айя:

Отар положил руку ей на плечо. Айя стояла, зажмурив глаза, и не смела оглянуться, пока Отар не повернул ее лицом к себе.

Первое, что она увидела, были горящие глаза Отара, но сразу вслед за этим за плечом Отара увидела она обреченное страдальческое лицо Тамро, подошедшей к ним совсем близко.

Айя не выдержала взгляда Тамро и убежала.

— Айя! Я люблю тебя! — кинулся вслед Отар.

Беглеца провожали смех и крики товарищей и подружек.

Оставшаяся в одиночестве Тамро сначала побежала было за ними, но скоро повернула в другую сторону.

Тамро долго бежала по сжатому полю...

...Отар догнал Айю, подхватил ее на руки, поцеловал. Они и не заметили, как оказались на земле их распаленные тела, как устремились они друг к другу, чтобы забыть о земле и о небе...

...А Тамро все бежала, не останавливаясь. Бежала как раз туда, где пылал на сжатой ниве костер, разведенный для борьбы с мошкаррой. Она мчалась вперед, не слыша голосов бегущих вдогонку друзей. Ее полные слез глаза видели только алые языки пламени, и это алое полыханье с удивительной силой влекло к себе ее тело, подавившее страх, и сулило помутившемуся рассудку, что только здесь она обретет успокоение.

...Страшный протяжный крик девушек поднял на ноги Айю и Отара.

Вокруг плясали лишь языки пламени, от протяжного крика, казалось, звенел сам воздух.

За околицей Айю ждал Отар.

В ночном мраке лишь на мгновенье показалось его лицо, выхваченное огоньком зажженной спички.

Отар глубоко вдохнул дым от сигареты и занялся лошадьми.



Заплаканная, подавленная подошла Айя.
— Что делать? — после паузы спросил Отар.

— Прочь отсюда... Мы должны уехать как можно дальше... — сквозь слезы проговорила Айя.

Отар помог Айе сесть на лошадь, оседлал коня сам, и невольные виновники трагической гибели Тамрововски слились с ночной тьмой...

...Лежали под кровом своего дома Отар и Айя. Разворошили в памяти прошлое, перебирая, словно четки, прожитые дни.

Вырвавшееся у Айи слово «расплата» заставило Отара задуматься. Никогда он в такие вещи не верил, более того — посмеивался над ними. Да и сейчас сначала равнодушно отнесся к тому, что твердила Айя, поспешил выбросить из головы мысль о Божьей каре, считал ее фантазией жены, однако почему-то образ бедной Тамро не покидал его. Этот образ угнетал его, он боролся с ним как мог, цеплялся за другие воспоминания, но Тамро продолжала упорно стоять перед глазами.

«Вообще-то говоря, — убеждал себя Отар, — я ни в чем не виноват. Мы ничего не обещали друг другу, даже помолвлены не были... Ну, а если и были, разве не расстаются и обрученные?»

«Расстаются», — сам ответил он на свой вопрос.

«Почему ты никогда не вспоминал Тамро?» — спрашивал чей-то голос.

«Почему не вспоминал? — переспросил он. — Не знаю».

«А то, что она из-за тебя сгорела, знаешь?»

«Знаю, — отвечал он себе, — знаю...»

«Тамро любила тебя больше всех на свете», — не отступал голос.

«Я не думал об этом. Если хочешь знать правду, я тогда больше своим чувством был поглощен. Помоему, у всех это так. Я многих спрашивал, говорят, главное, самому любить. У нас же все было наоборот. Тамро нравилась мне, а потом я полюбил Айю... Тогда я даже еще не знал, любит ли меня Айя».

«Как бы ты поступил, если бы заранее знал, чем

все кончится?» — снова раздался голос, и Отар не сразу нашел ответ.

«Тогда я не мыслил жизни без Айи... Я бы все равно не остался с Тамро... Разве мог я представить, что она бросится в огонь? В этом я не виноват...»

«А почему тогда из деревни сбежал?»

«Ради Айи. После того случая Айя не могла там оставаться... И я не мог... И мы решили... О том, чтобы расстаться с Айей, и речи быть не могло. С ней я готов был идти в ад... И пошел, между прочим...»

Здесь поток мыслей прерывался, что-то занозой за село в груди. Он понял, что лгал. Сейчас, столько времени спустя, может, именно так и нужно было объяснять свой побег из деревни. Тогда действительно инициатива исходила от Айи, но Отар помнил и то, что гибель Тамро и желание Айи лишь ускорило то, что все равно должно было случиться. Сейчас уже можно было признаться, что не кто-то, а именно отец заставил его без оглядки бежать из родного села. Отец, который не давал покоя сыну, вернувшемуся из армии. Отар знал, что долго не сможет находиться рядом с ним.

«Но если ты любил Айю, зачем обнадеживал Тамро, зачем целовал ее, почему не останавливал, когда она говорила, что может ради тебя покончить с собой?» — Вопросы сыпались один за другим.

Эти вопросы злили его, может, поэтому так трудно было подбирать слова для оправдания. Сейчас он уже не мог вернуть тогдашнего, присыпанного пеплом забвения чувства. Упрямо молчал. Может, он вообще не считал обязательным вспоминать былое, ведь в увлечении Тамро ничего, достойного удивления, он не находил.

От этих мыслей разболелась голова, но все новые и новые вопросы продолжали рождаться одни за другими. И один из них вменял Отару в вину равнодушие.

«Почему ни разу не вспомнил ты о той, которая пожертвовала собой во имя любви к тебе?» — Вновь всплыл старый вопрос.

«Почему?..» — спросил себя Отар, и вместо прямого ответа мысль перенесла его в то далекое время.

«...Мы три дня ехали верхом, — вспоминал Отар, — пока доехали до той деревни, где должен был жить мой товарищ по военной службе. Война закончилась шесть

или семь лет назад, но люди жили по-прежнему в нужде. Мы, поскольку сбежали неожиданно-негаданно, взять с собой ничего не успели, впрочем, у нас и не было ничего. Добрались мы до Валико голые-босые, голодные да холодные. Валико приютил нас, и мы неделю прожили в его единственной комнатухе.

За это время поставили сарайчик на пустыре — как раз на месте нынешнего дома. Валико от души делился с нами последним куском, но мы не могли объедать его семью, они сами еле концы с концами сводили. Кроме картошки, чеснока и фасоли, не было у нас ничего, да и эту нехитрую провизию мы приобрели вместе с досками для сарайчика на деньги, вырученные от продажи лошадей... Но зато... зато мы были переполнены любовью, и нам было не до Тамро, это понятно... Люди вообще избегают неприятных воспоминаний, особенно люди в нашем положении»...

* * *

Айя тихонько плакала.

Сейчас впервые упрекала она Провидение за то, что оно покинуло ее вдали от родного очага, совсем одну. В эту минуту она думала о бабушке, хотя не знала, жива та была или мертва... Айя жаждала тепла этой суровой на вид женщины, ее скупой улыбки, которой она никого, кроме Айи, не одаривала. Вместе с судьбой Айя попрекала и себя за свой тяжелый — как и у бабушки, — нрав, не позволявший ей идти на поклон. Именно характер помешал ей написать письмо, чтобы родные знали, что она жива. Зачем она поступила так, зачем всем пожертвовала ради любви, которая, как оказалось, должна была иссякнуть посередине пути!.. Сама став матерью, она никогда не думала о том, что должна была пережить старенькая бабушка, заменявшая ей мать. Правда, у нее были и другие внуки, но Айю она любила особенно, как сироту. Перед взором Айи вставала высокая, одетая в черное, женщина неприступного вида, повивальная бабка, известная не только в своей деревне, но и во всех окрестных селах, куда ее возили, благодаря умелым рукам. Это была их родовая профессия, талант, знания, переходившие из поколения в поколение; бабушка и осиротевшей Айе при-

вивала любовь к этому благородному делу, учила про-
никать в тайну рождения новой жизни. Видно, она за-
ботилась о будущем внучки, хотела, чтобы она после ее
смерти смогла заработать себе на хлеб.

Но Айя так и покинула свое село, ни разу ни у ко-
го не приняв роды. Бабушка ей, совсем еще юной, не
доверяла такое серьезное дело, хотя была уверена, что
внучка уже может заменить ее. Зато в этой деревне мно-
гие младенцы сделали свой первый вздох на этой зем-
ле в руках Айи, закричали впервые, криком своим при-
нося радость и Айе, и всей своей родне. Больница на-
ходилась далеко, в районном центре, и роженицы отда-
вали предпочтение родному очагу. Деревня быстро уз-
нала Айю, сблизилась с ней, полюбила ее. Может оттого,
что Айя никогда не вмешивалась в чужие дела, ни о
ком не говорила дурного слова, никому не докучала.
Может и потому еще, что Провидение в лице Айи по-
слало жителям ангела-хранителя нарождающихся мла-
денцев, покровительницу и спасительницу рожениц, воз-
ле которых Айе частенько приходилось голодной про-
сиживать ночи напролет, а потом, закончив нелегкий
труд, спешить домой.

Кто-то позавидовал смеху Айи.

Кто-то прикрыл глаза руками, чтобы не видеть си-
яющее счастьем лицо Айи.

Кто-то не снес ее ловкости, легкой женственности.

Кому-то не по душе пришлись ее ум и такт.

Кто-то даже на Бога возроптал за то, что тот на-
градил Айю таким даром...

Столько завидующих глаз сделали свое дело...

Нашелся грамотей, который написал на нее жало-
бу...

Врач из медпункта соседней деревни, лечивший и
от ангины и от поноса стрептоцидом, однажды навел на
Айю милицию, и пришлось доказывать, что невесть от-
куда явившаяся, живущая в сарайчике акушерка по-
могала роженицам бесплатно.

Айю неприятно поразила грубость врача, но в глу-
бине души она была благодарна судьбе за этот слу-
чай. В тот день ее так унизили, так изваляли в грязи
врач и милиционер, что она твердо решила учиться. И
учиться не на врача или инженера, а на учителя. Она

решила стать учительницей начальной школы, чтобы внушить детям то, что уже никакими силами не вбить в деформированное сознание очерстневших взрослых людей. Она решила увлечь за собой и Отара — так они стали учиться оба — на заочном, и воля их свершилась.

...Виноватой чувствовала себя Айя перед бабушкой. Особенно сердилась на себя за то, что не почувствовала раньше всей жестокости своего поступка. Она и сейчас не могла объяснить, почему, уже будучи студенткой, она сбежала от случайно встреченной в Тбилиси односельчанки, которая, с чемоданом и сумками в руках, кинулась догонять считавшуюся в деревне без вести пропавшей Айю; та, бедняжка, так долго бежала за ней, обливаясь потом, что чуть не угодила под трамвай.

Только теперь понимала Айя, как жестоки бывают молодые по отношению к старшим, как безжалостно они с ними ведут себя, хотя сами плохо разбираются в настоящей взрослой жизни.

«Как поздно человек берется за ум, если берется вообще! Как бессознательно он грешит, как постепенно обрастает грехами до самой последней черты... Самый беззлобный и честный человек вольно или невольно все равно заканчивает жизнь грешником... Кто избавит людей от груза грехов, кто очистит человека?» — думала Айя, но ответа на свои вопросы не находила.


«Боль, душевная боль»... — в конце концов она сама нашла ответ на свой же вопрос.

* * *

Гно, братья-близняшки и их сестра с песней водили хоровод вокруг хижины, слепленной из глины. Они играли в «дом-дом». Вылепили из глины фигурки людей и животных, для каждого нашли местечко вокруг «домика» и изо всех сил тянули ручонки к небу, словно для того, чтобы солнце побыстрее заметило их. А солнце и впрямь жарило вовсю, не жалея сил, подсушивало глиняный домик и его обитателей.

Отар сидел на трехногом табурете возле незаконченной собачьей будки и затачивал заступ.

Вначале будка всякий раз попадалась на глаза, как только он выходил во двор, и всякий раз он думал, что надо бы ее доделать, но никак не мог заставить себя



взяться за дело. Душа к работе не лежала, не мог он возиться любовно, кропотливо, как прежде. Но со временем он привык к недостроенной будке, больше не замечал, и она перестала его тревожить.


А сегодня он для того и вытащил заступ, чтобы вскопать огород, только бы как-нибудь побыстрее прошло воскресенье.

Айя с балкона взглянула на мужа и сразу поняла, что он ищет, чем бы себя занять, потому и вспомнил про огород. Ведь раньше не только в предзимье, но и весной, бывало, не прикоснется к земле, и когда Айя, Бог знает, в который уже раз напоминала, что проходит время сеять зелень, тогда Отар либо просил кого-то, либо сам брался за дело.

Отар работал на совесть, с такой силой налегая на заступ, что иногда с трудом переворачивал глубоко взрезанный пласт земли. При этом трудился он споро, будто кто-то его подгонял.

Сознание того, что придется просидеть дома все воскресенье, уже в субботу вечером подпортило ему настроение. Примерно с неделю, как ему стало казаться, будто что-то грызет ему мозг. Словно червяк сидел в голове, маленький, но сильный, упорный, который, едва пробудившись, принимался за свою негромкую, монотонную, но весьма чувствительную деятельность. Пока червячок скручивал мысль в кокон, Отар, затаив дыхание, следовал по пятам за этим невидимым существом. Но червь на этом не успокаивался, в какую-то минуту он начинал распускать то, что прежде наматывал, и тогда Отар выходил из себя. Этому крохотному существу лучше удавалось наматывать, чем распускать. Распуская, он требовал участия Отара, вынуждая давать ответы на неизбежные вопросы. Отару это было труднее всего. Он не знал, какой ответ был правильный, не мог определить также, существовал ли правильный ответ вообще. Червячок же торопил его, подкидывал вопрос за вопросом и требовал немедленного ответа.

У Отара всегда были дни любимые и ненавистные. С тех пор, как усложнилась его жизнь с Айей, самым невыносимым днем стало воскресенье. Конечно, Отар мог сказать, что и в воскресенье ферма нуждается в присмотре, нужно-де проверить, все ли в порядке, но



что-то удерживало его. Он знал, что Айя не стала бы ему возражать, но и скрыть от нее что-либо было невозможно. Отару не хотелось лгать. Ложь в первую очередь у него же самого отбирала свободу и сводила на нет наслаждение.

Но и на работу он не рвался, где его ждала встреча с Дали. А ведь Дали была сейчас единственным человеком, с которым Отару было приятно общаться. Но и это не доставляло ему полного удовлетворения. Дали готова была под ноги ему стелиться, она вернула ему молодость, напомнила о былой силе, льстила его тщеславию, но не находил он в ней той нежности, к которой привык, и которую дарила ему Айя на протяжении долгих лет. Даже в движениях Дали проскальзывало порой нечто, столь глубоко ему антипатичное и неприемлемое, что поднимало его среди ночи с постели и заставляло выходить на улицу, влекло к родному очагу. Но дома его вновь обступало безмолвие, он ощущал себя пленником. Опять возникало желание коснуться рукой тела Дали, зарыться и забыться в тепле ее плоти. В такие минуты в нем снова пробуждалась любовь к жизни, и снова какая-то сила старалась внушить ему, что для человека, живущего всего раз на этой земле, вовсе не обязательно прислушиваться к укорам совести, терзать себя раскаянием, гнить заживо, тем паче, что невозможно было вернуть то, что было потеряно навсегда.

Отар бросил заступ, ибо то невидимое существо снова принялось распускать клубок мыслей, предлагая Отару выбрать, принять решение, поступить по-мужски. Отар не был трусом, это знал и он сам, и все окружающие, но сейчас никто не смог бы добиться от него ответа, ибо он сам не знал, какой ответ верный, и существовал ли вообще правильный ответ на этот вопрос.

Мысли растревожили его вконец. Он не мог оставаться на месте и начал ходить взад и вперед по саду — собирал сухие листья.

Но вскоре Отар понял, что сам он этого выбора сделать не сможет. Пусть время скажет свое слово, — думал он, поджигая ворох сухой листвы, и так настойчиво бросал листья в огонь, словно стремился избавиться от мучительных мыслей.

Неслышно подошла Айя. Увидев его свирепое лицо, поняла, что в этот момент Отар не с листьями расправлялся.

Айя почувствовала себя неловко, оттого что невольно проникла в тайну Отара. Она продолжала стоять молча, дождалась, когда погаснет пламя и уляжется ярость Отара.

— Пойдем обедать! — сказала она.

Как ни странно, но появление Айи Отара успокоило.

— Сейчас! — глухо ответил он.

...После обеда Отар прилег на тахту, развернул газету, но сумел лишь бездумно пробежать ее глазами. Пришлось отложить газету в сторону. Отар прислушался к себе, и тотчас до него донесся тот приглушенный зов, которого он невольно ждал, при этом порой отмахиваясь от него и притворяясь глухим.

Но в данный момент этот зов обрадовал Отара. Он как бы последовал за ним, в глубине души желая, чтобы он непременно повторился, и он повторился, но в комнате хлопотала Айя, и это мешало ему.

Не в силах скрыть раздражение, Отар взглянул на жену. По его лицу Айя поняла, что ее присутствие нежелательно, и сразу вышла, плотно закрыв за собой дверь.

Отар сквозь стекло увидел, как Айя проходила через переднюю. Поняв, что и она видит его, он прикрыл лицо газетой.

Айя, проходя мимо окна, краешком глаза успела взглянуть на Отара, спрятавшего лицо за газетой, и в который раз признала себя виноватой во всем. «Это я отравила ему жизнь, мой характер всему виной... Это должно когда-нибудь кончиться...» — думала Айя, торопливо переодеваясь. Она хотела успеть возвратиться домой раньше, чем Отар встанет.

...Дверь в комнату Дали оказалась открытой. Айя постучалась, но ей никто не ответил, тогда она несмело переступила порог и сразу увидела сидящую у стола молодую женщину.

Дали сидела в усталой позе, опустив плечи и уставясь в одну точку. Она так глубоко была погружена в какие-то, очевидно, совсем невеселые мысли, что не слышала и не заметила, как в комнату кто-то вошел.

Айе вдруг стало жалко Дали. Жалко эту одинокую женщину, жалко, несмотря на ненависть, которую она испытывала прежде, не видя ее. В какой-то миг она даже решила уйти, но тут как раз Дали подняла голову и взглянула на нее.

Дали узнала Айю. Она встала и в растерянности прикрыла обеими руками живот, словно желая скрыть плод своего распутства. Однако внезапно, прямо на глазах у гостыи, она преобразилась, и вместо давешней — одинокой и жалкой — женщины, словно заговорила другая.

— Заходите! — резко, с вызовом произнесла она. — Чем обязана?

Айю вконец смутил живот Дали. Этого она никак не ждала. «Вот все и решилось без меня», — мелькнула в голове мысль. — Теперь она жалела, что пришла сюда, надо было повернуться и уйти, но какой-то неосознанный инстинкт подтолкнул ее к столу и усадил.

Начать разговор было трудно. Она смотрела на Дали и пыталась по лицу определить характер соперницы. Увы! Ее растревоженное сознание не могло сосредоточиться на одном предмете, она потеряла способность что-либо воспринимать.

— Оказывается, вы ждете ребенка... — нарушила она неловкое молчание.

— Как видите... — сказала Дали и с вызовом поглядела на гостью.

Только сейчас Айя почувствовала, что один приход ее сюда уже означал поражение. Однако исправить эту ошибку было уже невозможно.

Она собралась с силами и посмотрела Дали прямо в глаза. Именно в эту минуту она заметила, какими меткими были стрелы, которые метали глаза соперницы. Айя поняла, что Дали хотела продемонстрировать свою победу, хотела вынудить жену своего любовника сложить оружие. Поняла Айя и то, что эта женщина ни за что не отступит, ни перед чем не остановится, только бы добиться своего. Сердце у нее сжалось. «Зачем же он связался с такой...» — с горечью подумала она и, поскольку молчание становилось все более гнетущим, невыносимым, не отдавая себе отчета, спросила:

— А раньше у вас не было детей?

— Нет! — коротко отрезала Дали и поднялась со стула.

Айя почувствовала себя очень неловко, поняла, что Дали совершенно неинтересна незваная гостья. Не волновали ее и страдания соперницы, ей хотелось только, чтобы та поскорее убралась. Ну а ей, Айе, трудно было уходить, и без того достаточно униженной, покинутой мужем.

— Вас еще что-нибудь интересует? — насмешливо спросила Дали и добавила тем же тоном: — Наверно вам больше всего хочется узнать о моем давнем и недавнем прошлом? Ведь так?

— Нет, этого не нужно, — с трудом выдавила из себя Айя и снова взглянула на Дали — та сидела перед ней с припухшим, как это бывает у беременных, лицом, глаза ее были неподвижны и ничего не выражали. Айя смотрела на Дали и перед ней воскресали кадры из виденного когда-то давно фильма, в котором рассказывалось об охоте в горах Килиманджаро. Айя увидела стаю голодных гиен, услышала их леденящий душу вой, перед ней возникла гиена, попавшая в объектив киноаппарата, и Айя закрыла глаза, чтобы избавиться от этого навязчивого и неприятного образа. Дали сидела все так же неподвижно, но Айе казалось, что хозяйка все время расхаживала взад и вперед по комнате. Айя чувствовала, как слабеют руки, как трудно было ей оставаться рядом с этой женщиной, но она не могла встать со стула, боялась, что тотчас упадет. Айя удивлялась — куда подевалась ее воля, твердость, власть над окружающими. Чем победила ее эта женщина?

— Я... — неожиданно начала Айя и запнулась, — я не люблю его больше... — она снова замолчала, всей грудью вдохнула спертый воздух и после небольшой паузы спросила: — А вы?

Дали показалось, что у Айи вот-вот вырвется истерический крик, и злость ее прошла. Мелькнула мысль: какая хорошая у него жена, но она отогнала эту мысль, и сидела как каменная, с бессмысленными, ничего не выражающими глазами. Она пыталась заставить себя сказать, что любит Отара, но, к своему собственному удивлению, не могла вымолвить ни слова, и происходило это из-за Айи.

Айе, в свою очередь, пришлось признать, что верх взяла та сила, которой у Дали было столько, что хватило бы на десять таких, как Айя. В этой светловолосой росло и крепло именно то, что было утеряно Айей — вера в любовь Отара.

Внезапно Айя решила, что разговор пора кончать, это решение придало ей сил, она встала и с улыбкой произнесла:

— Если вы не любите его и он вам нужен только для утоления вашего тщеславия, не принуждайте его стать вашим мужем...

— А если я скажу, что люблю его, вы мне поверите? — спокойно, насмешливо улыбаясь, спросила Дали.

— Да... — продолжила она, немного помолчав, — за ним, как за ребенком, нужен уход, ласка...

Айя вышла из комнаты, быстро спустилась по лестнице. Так же быстро пересекла двор и оказалась на улице. «Она любит его, — мелькнула в голове мысль. — Наверное, и он ее тоже... Любовь очищает всех... все оправдывает... Я ведь тоже так думала когда-то...»

...Отар и Гио сидели на тахте и строили дом из пластмассового «конструктора».

— Гио, тебя ребята зовут, — сказала Айя внуку.

Гио вскочил и выбежал из комнаты.

— Где ты была? — спросил Отар.

— У той женщины, — немного помолчав, ответила Айя.

Отар встал.

— Не надо ничего говорить, — сказала Айя и улыбнулась, — не буду скрывать, мне будет трудно без тебя... — она снова улыбнулась, — но смотреть, как ты мучаешься в этих стенах, я больше не могу...

— Айя...

— Замолчи, — взмолилась она. Потом добавила твердо: — Ты свободен!

Айя направилась к двери, но прежде чем выйти, помедлила, ухватившись за дверную ручку, потом обернулась, с помрачневшим лицом посмотрела на мужа, словно желая запомнить его получше, и быстро закрыла за собой дверь.



* * *

...Отар шагал по опустевшей улице, сам опустошен-
ный и одинокий, и про себя дивился тому, что так бы-
стро и безропотно согласился расстаться с Айей, как в
мгновение ока рухнула семья, для создания которой по-
надобилось двадцать четыре года. Отар не понимал, как
он мог не сказать жене, что не может покинуть домаш-
ний очаг, почему он не солгал, почему не убедил ее,
что никогда не сможет оставить ее, расстаться с памя-
тью о тех днях, которые они прожили вместе.

Разве мало он знал мужчин, имевших и семью, и
любовницу, или любовниц. Таких было много среди его
знакомых, не говоря уже о посторонних. А он не смог
обмануть Айю. Пожалел ее, и без того убитую горем,
тем паче, что прекрасно знал, чего ей стоило доброволь-
но уступить мужа другой женщине. Отар был уверен,
что Айя любила его с той же силой, что и много лет
назад. Догадывался и о том, что ей пришлось пережить,
прежде чем она вынесла себе такой приговор — рас-
статься с мужем, он знал все, что было раньше и что
будет потом, но не мог ничего исправить, пойти напере-
кор тому, что сам затеял и довел до конца. Отар боль-
ше не любил Айю и больше не нуждался в ее любви.

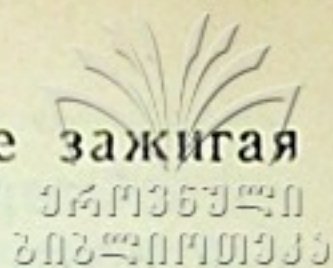
Сейчас, в одиночестве шагая по этой длинной и без-
людной дороге, Отар вспоминал, что женщины бывали
у него и раньше, изменял он жене и прежде, то нена-
долго увлекаясь, то воздавая дань моменту, теща свое
самолюбие, но любовь к жене от этого не проходила.
Или он просто тогда не задумывался, по-прежнему ли
крепка его любовь. Может, вовсе и не сейчас, а дав-
ным-давно он разлюбил Айю, преданную, любящую, са-
моотверженную, казалось, неотъемлемую часть его са-
мого? Что же случилось после гибели Левана?

На этот вопрос Отар не находил ответа.

До сих пор ему казалось, что его звала к себе са-
ма жизнь, влекло очарование прежде неведомой свобо-
ды, но сейчас он понял, что получил ненужную, бессмыс-
ленную свободу, и чувствовал себя, как вышвырнутая
из дому собака, лишившаяся сразу и убежища, и хо-
зяина.

Он ненавидел себя, свою свободу и Дали... Ведь он
уже не знал, любил ли ее, должен был любить или не-
навидеть...


Открыв дверь своего кабинета, Отар, не зажигая света, упал ничком на старый диван.



* * *

— Скажешь, что я больна, — предупредила Дали соседскую девочку и легла в постель, так как была уверена, что приход Аيي не пройдет бесследно, она боялась, что истина вот-вот всплывет наружу.

После ухода Аيي Дали долго не могла успокоиться. Она слышала о жене Отара много хорошего, а теперь сама получила возможность в этом убедиться. Однако она все равно не могла поверить, будто бы Айя говорила то, что думала. Дали поняла одно, что Айя по-прежнему любила Отара, и это внушало ей тревогу. Она не верила, что женщина, какой бы благородной она ни была, может отдать другой такого мужа, как Отар. В который раз повторяла она про себя слова Аيي, сказанные перед уходом, и была уверена, что Айя кривила душой, на самом деле, по мнению Дали, она сейчас наравит на нее все село, явится с милицией выселять ее, подошлет других женщин, чтобы они за волосы выволокли из дома распутницу, совратительницу чужих мужей. Так думала Дали, запершись в своей комнатке, и сама верила в свои измышления, приписывая Айе то, что ей диктовало ее знание женской природы. Она не представляла себе, да и представить была не в состоянии, кем была и какую ношу могла взвалить на свои плечи эта хрупкая, брошенная мужем женщина. После ухода Аيي Дали вдруг потеряла всякую надежду, бесследно исчезло чувство превосходства, упоение победой над Айей, и она ощущала такую беспомощность, которой не испытывала в своей жизни. Ей было жаль себя при мысли о разлуке с Отаром, и хотя она уже привыкла к тому, что рано или поздно ее оставляли, впервые ей было тяжело. Правда, никто не спрашивал о причине ее «полноты» и припухлости лица, но она не сомневалась в том, что все догадывались. Часто перехватывала она любопытные взгляды, устремленные на ее растущий живот, замечала, как умолкали пересуды, стоило ей появиться. Она знала, что если кумушки сдерживали свое любопытство и не задавали лишних вопросов, то лишь из уважения к Отару. Да и сама она обе-



регала его доброе имя. Поэтому, пока еще ребенок не начал двигаться, она потуже стягивала живот, но потом ей стало жалко его и она перестала прятать то, на что прежде и надеяться не могла, о чем и мечтать не смела.


Дали знала, что нравится Отару, однако сейчас ей уже недостаточно было этого. А ведь он за столько месяцев еще ни разу не проронил ни одного словечка о любви. Так на что же было надеяться, о чем мечтать? Ладно, она готова была смириться и с этим, но Отар не походил на человека, готового разрушить семью, отказаться от внука, отказаться от всего того, что собственными руками создавал на протяжении долгих лет. И ради кого? «Достойна ли я такой жертвы?» — спрашивала себя Дали и затруднялась ответить. Она не хотела, не в силах была слышать правду. О многом мечтала, но при этом даже вообразить не могла, что Отар оставит семью, нарушит традицию, установленную издавна и живущую — плоха она или хороша — по сей день. Сначала ей хотелось просто привлечь внимание Отара, потом добиться близости с ним. Теперь она уже хотела заполучить его целиком. Дали отнюдь не стыдилась этого желания, напротив, в последнее время она только об этом и думала. Ее совершенно не смущало то обстоятельство, что Отар имел не только жену, но и внука, что у него была своя жизнь, свои привычки и потребности. Опыт научил Дали считаться только с собственными интересами, безжалостно переступать через все преграды, стоящие на пути к цели, и во что бы то ни стало получать свое. Дали не задумывалась над тем, как называлось это упорное стремление добиться своего во что бы то ни стало, любой ценой. Пусть над этим другие ломают головы, ее это не касалось, волновало ее лишь то, что лично ей было нужно. В настоящий момент таких вопросов было два: стать женой Отара и родить ребенка.

Мечтала ли она раньше о семье? Нет, во всяком случае не помнила, чтобы ей это было нужно, тридцать три года прожила она, не испытывая такого желания. Не думала об этом даже тогда, когда добивалась близости Отара, но вот стоило забеременеть, как... Она сама почувствовала, как изменилась. Плод ее любви, ежеминутно напоминающий о себе, казалось, прояснил




ее сознание. Это явилось причиной новых, прежде ^{неве-}домых забот и привело к тому, что Дали вдруг стала задумываться не о своей судьбе, а о будущем ребенке. Эти мысли подступали, словно неодолимая печаль, и сделали ее такой чувствительной, что она и сама удивлялась, что это с ней происходит. Дали часто горевала о том, что у ее ребенка никогда не будет рядом отца. Маленькое существо будет мучиться от сознания того, что оно не любимо тем сильным и красивым мужчиной, благодаря которому явилось оно на свет. Чем больше проходило времени, тем сильнее любила Дали растущего под сердцем младенца. И каждый толчок усиливал ее страх потерять Отара, она понимала, как очищали страх и любовь, слитые воедино, ее душу и тело, огрубевшие за эти годы, бесчисленное множество раз растоптанные и униженные. Порой, когда ее одолевали такие мысли, она чувствовала, как сразу менялось настроение. Тогда она задавалась мучительным вопросом, что делать с тем, что звалось ее прошлым. Привычки, характер, желания, выработанные этим прошлым, пока никак не желали смириться, входили в противоречие с этой вновь приобретенной чуткостью. Прошлое все-таки было ее жизнью, а не вещью, которую можно было засунуть под тахту или выбросить в окно. Это Дали знала. Знала она и то, что прошлое было в ней, как сердце, как печень или легкие, стало ее неотъемлемой частью и, хотела она того или нет, надо было носить его в себе, как висящий на шее тяжелый камень, надо было признать его своим, раз уж не удавалось от него избавиться. И Дали решила забыть это прошлое, чего бы ей это ни стоило. Это необходимо было для нее, или, может быть, не для нее, а скорее для Отара, ибо она еще не знала, какое решение примет этот человек, от которого зависело ее будущее.

После сближения с Отаром, когда у Дали впервые возникло желание окончательно расстаться с прежней жизнью, она вспомнила слова одного шутника-стихотворца — от себя убежать легко, главное, убежать от прошлого. Она стала со всех сторон обдумывать эту мысль и в конце концов решила, что шутник-стихотворец был прав. Попытка что-либо забыть уже была первым шагом на пути побега от себя, ну а другие? Если



твоя память закроет на все это глаза, то как быть с другими, как справиться с чужой памятью, стоящей на чеку, провожающей каждый твой шаг любопытными взглядами, только и ждущей, что ты споткнешься о камушек, не говоря о булыжнике? И тогда благодать, каким-то чудом пролившаяся в твою душу, которую ты оберегала пуще зеницы ока, лопнет, исчезнет, подобно мыльному пузырю, это сокровище выпотрошат у тебя на глазах бдительные доброхоты, чтобы ты осталась тем, чем была, ибо это было твоей судьбой, раз уж ты родилась на свет с этой маской.

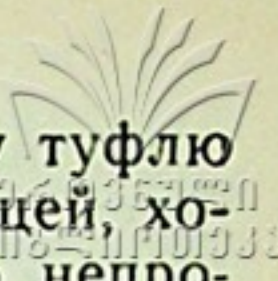
«Так что же все-таки значит для меня Отар?» — уже в который раз спрашивала себя Дали. И этот вопрос уводил ее снова в прошлое. Дали окидывала внутренним взором пройденную жизнь и никого из прежних своих спутников не могла даже сравнить с Отаром. Дали чувствовала, что Отар сделал ее совсем другой. Правда, этот немногословный человек не беседовал с ней о «высоких» материях, как тот рано облысевший профессор, который снял для нее квартиру и два раза в неделю — по вторникам и пятницам приходил к ней, но имел на нее, тем не менее, огромное влияние. Когда она была рядом с Отаром, достаточно было одного его взгляда, чтобы у нее тотчас возникало желание становиться лучше. Она отвыкла от громкого хохота, перестала врать и избегала много такого, что раньше не считала грубым или вульгарным, а теперь относилась к этому совсем иначе. Она научилась сидеть дома и ждать — и, что ей больше всего нравилось, — у нее появилась тяга к мечтательности. Раньше она и вообразить не могла, что на свете столько всего, о чем так приятно мечталось, или что она способна была думать еще о чем-то, кроме нового платья и модных туфель, или о приятном времяпрепровождении. Эти перемены Дали приписывала своей влюбленности, первой настоящей любви, которая пришла к ней с таким опозданием. Дали впервые в жизни поверила, что человек может дожить до пятидесяти лет, ни в чем человеческом себе не отказывая, и при этом оставаться таким чистым, каким оказался Отар. Дали завидовала чистоте своего любовника, который, правда, осквернил себя, общаясь с ней, но при этом сохранил чистоту. Дали все время казалось,



что Отар не допускал ее до своей души, он многое ей позволял, но душу держал за девятью замками. Дали это чувствовала и мечтала как раз о том, чтобы проникнуть в его душу, и жила мечтой, что когда-нибудь, после многих лет совместной жизни ей удастся подняться до уровня любимого и столь желанного человека.

Дали каждый вечер сидела дома. Она никогда не знала, когда Отару вздумается прийти, и она ждала сначала сумерек, затем скрипа ступенек и, наконец, стука в дверь. Поздно вечером, уже потеряв надежду, она шепотом молила Бога, чтобы хоть на следующий день Отар пришел к ней, но когда он не приходил ни на второй, ни на третий день, Дали начинала думать, что праздник ее кончился, и Отар больше никогда не переступит порог ее дома. «Ему уже обрыдло со мной возиться, — думала Дали, — мало того, что я его заманила, уложила с собой порядочного человека, так я еще захотела иметь от него ребенка, опять мало, еще и вздумала стать его женой... Да когда ж такое было, — продолжала рассуждать она, — чтобы мужчина бросал порядочную женщину и начинал жить с такой, как я? С такими, как я, ложатся, чтобы утолить похоть, раз-два не больше, о большем нечего и мечтать...»


В такие минуты она проклинала своих родителей, которые, считая, что детям ничего не нужно, кроме пищи, с утра до позднего вечера пропадали на заводе, и знать не знали и не спрашивали, чем заняты целыми днями их дети. Она проклинала свою глупость и легкомыслие. Что за дурацкое любопытство толкало ее, совсем девочку, к тому, чего она и сама толком не понимала? Почему она хотя бы раз не задумалась над тем, что творила, зачем, для чего? Эх, будь у нее тогда столько мозгов или найдись рядом добрый человек... Может, конечно, никто бы ее и не спас, потому что иногда она думала, что так уж ей на роду было написано. Как будто необходимо было при этих воспоминаниях соблюдать последовательность, Дали сначала видела импортные лаковые туфельки на прилавке, а потом уже своего первого мужчину — завскладом обувного магазина. Эти дорогие туфли так прямо и бросались в глаза девочке, которая каждый раз, возвращаясь из школы, заходила в магазин их потрогать. Иногда, если



было мало народу, она примеряла на одну ногу туфлю на высоком каблуке и мечтала стать их владелицей, хотя раздобыть сорок пять рублей для нее было непростым делом. Туфельки же сверкали и в голове и перед глазами, сверкали и во сне и наяву, она настолько потеряла покой из-за них, что, наверно, умерла бы, увидев, что они уже проданы. Дали вспомнила подвал, пропитанный запахом кожи, дверь, запертую на тяжелый засов, надпись снаружи: «Уехал на базу», все, что делало безопасным пребывание в сыром подвале ученицы средней школы, которой едва исполнилось шестнадцать. Придя как-то в очередной раз в магазин и держа туфли в руке, Дали почувствовала, как на нее смотрит какой-то мужчина. Да нет, не смотрит, а раздевает ее выпуклыми бычьими глазами. Дали словно пронзило молнией, и ноги понесли и без того взвинченную девочку к обладателю бычьих глаз. Он взял у нее туфли, бросил их на прилавок, что-то ей сказал. Но в это время с ним кто-то заговорил. Дали осталась одна и как будто пришла в себя, потому что только сейчас до нее дошло, что предлагал ей мужчина с бычьими глазами. Она спустилась за ним в подвал, якобы для того, чтобы посмотреть еще более красивые туфли, и там, опрокинутая на картонные ящики, вместо того, чтобы бежать без оглядки, ждала, когда случится чудо... Дали в самом деле получила в подарок туфли намного лучше тех, которые она облюбовала раньше. Бычеглазый казался испуганным, хотя и словом не обмолвился о девственности Дали, которая тотчас поняла, в чем дело. Завскладом, не задумываясь, отдал бы половину всей обуви, но Дали взяла лишь свое и больше ни на что не претендовала.

Еще долго ходила в этот подвал «красивая девочка» и всегда возвращалась щедро вознагражденной как ласками, так и вещами. Когда она окончила школу, умер отец, теперь она была свободна и никого больше не боялась. Или она находила себе партнера или ее находили; несмотря на то, что и мужчины и обстоятельства были самые различные, все было удручающе схожим, пока не появился молодой и красивый художник.


Жил он беспечно, деля время между рисованием об-



наженной натуры и возмужанием. Художник уверял Дали, что ему было интересно рисовать натуру в разном психофизическом состоянии. Он заставлял Дали вместе с ним разыгрывать сцены насилия, бил ее, поил вином и между тем — рисовал. Позднее, заметив, что Дали беременна, он часами держал ее в горячей ванне, рисовал или читал стихи, дожидаясь выкидыша. Дали нравился красивый дом художника и его чокнутый хозяин. Она с удовольствием окунулась в незнакомый ей прежде мир, где все были всегда чем-то увлечены, собирались после десяти вечера, разговаривали, пили, валяли дурака, курили, но в один прекрасный день двери этого дома закрылись перед ней, и она снова осталась одна. Потом в ее жизнь входили и выходили другие мужчины, женатые и холостые, те, которые при деньгах, и те, кто лишь мечтал о них. Были рестораны, полные пьяного хохота, безумные ночи на лоне природы, бегство от обессиленных вином, но распаленных похотью мужчин, пинки, тычки и прогулки в черных машинах. Это продолжалось до тех пор, пока одному пожилому человеку Дали не понадобилась для украшения закатных дней своей жизни, и он не завладел ею, взяв на себя ее материальное обеспечение и устройство на двухгодичные бухгалтерские курсы. К этому времени Дали все уже приелось до отвращения. Ей казалось, что мечтает она лишь о покое, но ее терпения хватило лишь на два месяца — больше сидеть взаперти и любоваться стариком она не могла. Ей нетрудно было обманывать своего нового покровителя, но и это ей быстро надоело. Тогда она стала подумывать о том, чтобы вообще уехать из города и поселиться там, где никто ее не знает. Окончив курсы, она попросила, чтобы ее распределили в далекую деревню. Разумеется, Отар ничего этого не знал, но Дали чувствовала — между ними, кроме Айи, высилось неприступной скалой ее прошлое, переступить через которое Отару, как человеку порядочному, было трудно. Поэтому и только поэтому он никогда не говорил Дали о своих чувствах.

* * *

— Ну вот и все, — сказала Айя и поставила горячий утюг на чугунную резную подставку. Она акку-



ратно уложила в чемодан выглаженную рубашку Отара. Третий чемодан поставила рядом с двумя другими в ожидании, когда сосед, отец близняшек, зайдет и отнесет их Отару. Три дня уже Айя готовила «приданое» мужа, делая это с особой тщательностью. Даже ненадеванное белье и сорочки перестирала и выгладила. Сам Отар ни о чем не просил, ушел из дому, в чем был, но Айя не могла успокоиться — Отар привык к чистоте и аккуратности, и пока приобретет новые вещи, ходит в старых. У Айи было такое ощущение, словно эти три дня она провела с Отаром, и сама удивлялась, что ничего, кроме прежней любви, к бывшему мужу не испытывала. Иногда ей казалось, что нутро у нее не женское, ибо в ее положении любая другая неустанно проклинала бы предателя-мужа, десять раз на день желала смерти разлучнице. У Айи же остались лишь боль и горечь, но ни разу не пожелала она зла Отару, не могла поминать лихом того, кого любила всю жизнь, о ком заботилась столько лет. Каждая мелочь из прожитой совместной жизни жива была в памяти, помнилось все — и хорошее, и дурное, в основном, хорошее, и она чувствовала, что Отар был по-прежнему ей дорог. Правда, он оставил вместо себя незаживающую рану в ее сердце, сменив Айю на другую женщину, но оскорбленной она себя не чувствовала, не озлобилась, не возненавидела его. Раз он предпочел ей другую, наверное, с ней ему лучше, — думала Айя и не хотела своими обидами омрачать его счастье.

Один-единственный раз, в тяжелую минуту, когда хотелось плакать, а слез не было, она стала просить Господа послать ей ненависть к Отару, дать ей силы проклясть его, выплеснуть скопившуюся горечь, но тотчас перед ее глазами встал Леван. И ей стало стыдно. Ведь если бы Леван поступил так же, как его отец, она бы, конечно, осудила его, но не возненавидела бы. И не мечтала бы изничтожить обретенное им счастье.

Потом она думала о том, что нельзя приравнивать мужа к сыну. К сыну женщина относится иначе, чем к мужу. Наверное, это так, иначе не могло быть на этом свете столько ненависти и злобы. Может, истина как раз в том и заключалась, что от любви до ненависти, в самом деле, всего один шаг? А может, это была ис-

тина для тех, кто никогда не любил по-настоящему, у кого и любовь, и ненависть зиждились на расчете? Голова кружилась от стольких вопросов. А ответа, твердого и окончательного, она так и не смогла найти. Да и как найти, когда сколько людей, столько и характеров и столько отношений, у каждого была своя правда и каждый находил ответ, вытекающий из этой правды.

Ни раньше, ни теперь Айя не могла понять, почему люди считали супругов подсознательными врагами, почему им казалось, что супружеская жизнь — непрерывная, тайная или явная война. Она не верила в это, ибо они с Отаром никогда друг с другом не враждовали. Не верила и в то, что Отар ушел из ненависти к ней, что теперь он превратился в ее неусыпного врага и совсем не тревожился о ее судьбе. Она знала, что Отар страдает. Не признаваясь в этом даже самой себе, она готова была согласиться, чтобы Отар каждый день приходил домой обедать, согласна была стирать его белье, снимать головную боль, согревая собственным теплом, прижимая к груди.

И разве не из-за любви она сама отправила мужа к сопернице, даже не испытывая при этом ненависти. Она могла поклясться, что разлука с Отаром была для нее страшным ударом, ведь она всегда считала, что они вместе родились, вместе выросли и вместе должны были умереть. Их союз заключен был на небесах и иначе быть не могло. Ее мучило одиночество, уход его рывал сердце на части, ужасна была сама мысль, как он осчастливил русоволосую разлучницу. Но ревности, зависти, ненависти она не испытывала, и сама удивлялась, не могла понять, куда подевалась ревность и почему, ведь всю жизнь она потихоньку принюхивалась к его волосам и одежде, когда он возвращался после недолгой отлучки, да и без всякой отлучки — все равно ревновала, хотя знала, что Отар был не из тех мужчин, которые волочились за любой женщиной без разбору и вечно искали приключений. Порой Айя думала, что если она возненавидит Отара, ей станет легче, но ей не удавалось возненавидеть того, кто был не просто ее мужем, а еще и ребенком, которого она любовно растила с юных дней, за которым ухаживала. Баловала вкусной едой и лаской.

Отар ушел и унес с собой веру в вечную любовь. Айя терзалась вопросом, как жить, покинутой и мужем, и сыном, оставшись без всякой надежды, за что уцепиться, в чем почерпнуть веру в то, что на свете все-таки существует верность, уступчивость, терпение, что жизнь потому и была желанной, что Провидение сулило, в конечном итоге, людям добро.

После ухода Отара Айе стало даже как будто спокойнее. Неопределенность была страшнее, чем самая жестокая правда. Вот и решилась ее судьба, и покой пришел сам, если, конечно, ее состояние можно было назвать покоем. Теперь Айя принадлежала только внуку, а главной задачей стала забота о мальчике, хотя и его детскую беду облегчить было не в ее силах. Она была для него больше, чем мать, но все равно заменить ему мать не могла. Айя чувствовала, что Гио очень тоскует по матери, и хотя он никогда о ней не вспоминал вслух, печаль, сквозившая в детском взоре, выдавала его. Айя молила Бога, чтобы он облегчил ребенку тяжелую разлуку.

Айя теперь не ходила каждый день на могилу Левана. Как-то раз, уже спустя много времени после отъезда Наны, на кладбище Айе показалось, что Гио плачет. Правда, слез она не видела, но у мальчика было такое лицо, что Айя испугалась. Тогда она решила больше не водить его на кладбище, но привыкший к ежедневному ритуалу Гио сам просил брать его с собой, и Айя вынуждена была придумывать разные отговорки, но не всегда удавалось убедить или обмануть мальчика, и тогда они вдвоем направлялись по длинной крутой дороге, идущей от села к кладбищу.

Однажды, взявшись за руки, они шли на кладбище. Увидев их, собравшиеся возле родника женщины внезапно умолкли, поздоровались с Айей и проводили ее испытующим взглядом. Возле чьих-то ворот молодая женщина кормила грудью ребенка, рядом с ней стояла девочка трех лет. Гио внимательно посмотрел на женщину с грудным ребенком на руках и, когда они порядком удалились от них, спросил:

— Бабуля, а меня моя мама тоже так кормила?

— Да, — ответила Айя, быстро сообразив, что надо перевести разговор на другую тему. — Ты был та-

кой обжора, готов был в нашу кастрюлю залезть, чтобы и нашей еды отведать.

Гио удовлетворенно засмеялся.

— Поэтому я и вырос такой большой, да?

— Потому и вырос, конечно!

Когда они пришли на могилу Левана, Айя села прямо напротив креста и застыла, уставясь в землю. Раньше она беседовала с сыном, но после ухода Отара прекратила беседы с Леваном, ни слова не обронила, словно боялась, как бы Леван чего-нибудь не заметил, не хотела тревожить его тем, что все равно уже произошло и что исправить было невозможно.

— Бабуля, а что папа здесь делает? — вдруг спросил Гио, садясь перед ней в ожидании ответа.

Айя не знала, что ответить внуку, но понимала, что мальчик не успокоится, пока не получит ответа. Ему хотелось узнать, зачем отец переселился сюда, что он тут делал, что ему надо было здесь, куда они так часто приходили и где, кроме Левана, были и другие люди, почему взрослые называли это место лучшим миром, когда оно находилось так далеко от деревни и где, наверное, по ночам было очень темно, потому что здесь не было столбов с уличным освещением, да и лампочек не было видно.

— Он здесь живет... — с трудом выдавила Айя и встала, чтобы поскорее уйти, но Гио преградил ей путь и крепко уцепился за руку.

— А что он тут делает?

— Любит дедушку Отара, меня, твою маму...

— А еще?

— Ни с кем не враждует, никому не желает зла...

— И все?

— Любит твою маму и все время думает о ней...

— А еще?

— Не ворует...

— Еще?


— На чужое не зарится, довольствуется тем, что имеет.

— И до каких пор он здесь будет?

— Всегда.

— А если не захочет?

— Этого не может быть. Ведь он хороший...



Айя быстро пошла по спуску, Гио за ней. Он молчал, но Айя чувствовала, что у него было еще много вопросов, еще многое волновало. Айя не знала, сумела ли она ему что-либо объяснить, но верила в то, что все сказанное ею было правдой. Только Леван и другие, разделившие его участь, могли жить такой жизнью, если можно было назвать жизнью их пребывание здесь. Только они могли выполнять эти, казалось бы, такие простые заповеди, которые были завещаны людям их предками. Однако для тех, кто радовался солнцу, был живым, жил на земле, эти заповеди оказались неприемлемыми. Почему, почему не могли люди не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не клеветать... Размышляя таким образом, Айя быстро шла вперед, хотя сквозь слезы не видела перед собой дороги. «Почему, почему так устроен человек?» — вопрос оставался без ответа.

* * *

...Об Отаре Гио не спрашивал.

Айя тоже ничего ему не говорила, хотя и удивлялась, что мальчик не вспоминает деда. Однажды вечером, во время ужина, Гио попросил добавки. Айя положила ему на тарелку все, что оставалось на сковороде.

— А дедушке? — вдруг спросил Гио.

— Дедушка дома не ужинает, его послали работать в другое место, — спокойно ответила Айя.

— Куда послали?

— Не знаю.

— А когда он приедет?

— Его надолго послали, — сказала Айя и пошла на кухню, сразу принялась мыть посуду, чтобы Гио больше ни о чем не спрашивал.

Гио молча доел свой ужин и, когда Айя укладывала его спать, снова спросил:

— Сколько раз я должен поспать, чтобы дедушка приехал?

— Много.

— Двадцать?

— Да.

— Если двадцать, тогда почему он не попрощался со мной?

— Он очень торопился, — Айя поспешно вышла в соседнюю комнату.

— Бабуля! — крикнул Гио.

— Пора спать!

Гио умолк.

Айя сидела на своей кровати, дожидаясь, когда мальчик уснет.

Гио накрылся одеялом и притих.

Когда некоторое время спустя Айя заглянула в детскую, ее встретили блестящие глазки внука, и она улыбнулась.

— Почему ты не спишь, Гио?

— Тебя жду.

Айя легла и, когда протянула руку к выключателю, Гио попросил:

— Не туши свет!

Айя удивилась, обычно свет мешал ему. Значит, боится, подумала она, и обняла внука. Гио немедленно перелез в бабушкину постель и так крепко прижался к Айе, как будто хотел проникнуть ей в душу.

Айя целовала мягкие волосы мальчика и не могла понять, догадывался ли он обо всем, или только инстинктивно чувствовал, что произошло.

Они долго молчали, хотя и не спали оба. Айя с волнением думала о том, каково придется такому чувствительному мальчику в жизни. И когда она снова приласкала его, по-прежнему лежавшего с открытыми глазами, он попросил что-нибудь рассказать.

Айя легла на спину. Гио положил голову ей на плечо и приготовился слушать.

— Было то или не было, жил на свете петушок — золотой гребешок...


— Не хочу эту сказку, — закапризничал Гио.

Айя замолчала.

— Подружилась лиса с медведем, и...

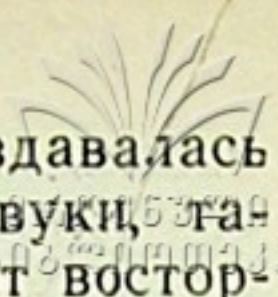
— Расскажи другую, бабуля... — взмолился Гио.

— Неподалеку от села, в лесу, жил волк с пятью волчатами, — после долгого молчания вновь заговорила Айя. — Волчатам исполнилось четыре месяца, и мать-волчица начала их обучать. После завтрака она уводила их в чащу леса и заставляла прыгать, бегать, вынюхивать добычу. Совсем скоро она собира-



лась взять их на охоту и поэтому всячески их закаляла. Волчица была довольна ловкостью своих щенят. Однако пятый, Последыш, внушал ей тревогу. Во-первых, он был слабее своих братьев и сестер, во-вторых, родился он меченым. На голове у него была черная полоса, он явно отличался от остальных, и вызывал ревность не только у братьев и сестер, но и отец косо на него поглядывал. С этим мать-волчица еще кое-как могла бы смириться, главным было другое — она никак не могла внушить Последышу любовь к крови. Едва лишь завидев кровь, он начинал жалобно скулить и, весь дрожа, убегал подальше от своих. Мать-волчица переживала, удивлялась странному характеру своего Последыша, и ничего другого ей не оставалось, как надеяться, что он вырастет и поумнеет. Время шло, а Последыш все никак не привыкал к крови. Не любил он играть и со своими братьями и сестрами, сидел в одиночестве, прикрыв глаза, и мечтал. Однажды мать застала его в таком необычном для волка состоянии: он сидел, затаив дыхание, и наслаждался пением дрозда. Тут уж не стерпела мать, и не только поколотила Последыша, но и оставила его без ужина. Всю ночь она не пускала его в логово: дескать, если уж тебе суждено умереть, подыхай сейчас, пока не опозорил нас окончательно! Последыш не пролил ни слезинки, хотя ему и было очень страшно ночью одному, зато в ушах звучало пение дрозда и можно было любоваться луной.

Назавтра вся семья собиралась на охоту. Весь день волки готовились, а когда стемнело, волчица оставила Последыша в логове и взяла с него слово, что он наружу и носа не высунет. Последыш некоторое время ждал, затем вылез из норы, и таким покоем повеяло от залитого лунным светом леса, что он вдруг позабыл наставления матери и, резвясь и прыгая, оставил логово далеко позади. Когда он вышел из леса, идти при свете луны стало легче, и до слуха его донеслись какие-то звуки. Такие звуки он слышал и раньше. Сначала он решил, что набрел на своих, но очень скоро понял, в чем было дело. Эти существа, живущие в деревне, были похожи на его братьев и сестер, но это были не они. Последыш внимательно осматривал окрестности, слышал лай собак и удивлялся тому, насколько отличалась



эта местность от той, где он жил. Из дома раздавалась музыка. Последыш впервые слышал такие звуки, единственные, проникающие в самое сердце, и от восторга совсем потерял голову. Из дома на освещенный двор вышел мальчик и направился к собакам. Виляя хвостами и лапаясь к хозяину, они мешали ему поставить на землю миску с едой. Мальчик взял на руки маленького, почти такого же, как Последыш, щенка, поцеловал его и стал кормить с рук.

Последыш, притаившись под забором, смотрел на свое подобие, внезапно ощутив острое желание оказаться на месте щенят, почувствовать ласку. Он представлял себя то на месте одного, то другого, то третьего. Удивлялся, почему они рычат на хозяина, почему стараются куснуть его. Разве он на их месте стал бы рычать и кусаться?

Мальчик ушел. Музыка умолкла. Еще долго сидел Последыш под забором, не шевелясь и сгорая от желания приблизиться к щенятам, и в то же время испытывая неодолимый страх. В эту минуту больше всего на свете ему хотелось быть с подобными себе и все же отличными от него существами, и все-таки он не смел приблизиться к ним. Ему ужасно нравилось то, что он видел, хотя он не мог понять, что таилось за чертой видимого, и это сковывало его. Когда наконец обитатели двора, насытившись едой и лаской, затихли, Последыш набрался решимости и стал подбираться к ним поближе. Неподалеку от них он остановился, присел и стал ждать, когда они его заметят. Первым его заметил самый крупный щенок. Он поднял голову, наострил уши, словно собираясь залаять, но передумал, снова уткнулся носом в передние лапы и притих. Последыш осмелел и, хотя все еще испытывал страх, тихонько пополз вперед. Все ближе он подбирался к себе подобным, вот и самый маленький поднял голову, увидел Последыша, подбежал к нему и облизал ему мордочку. От неожиданной радости Последыш прикрыл глаза. Малыш внезапно ткнулся головой Последышу в бок и убежал. Потом снова вернулся, встал на задние лапы, упираясь передними в спину ровесника. Последыш понял, щенок приглашал его поиграть, и не стал медлить. Они резвились до полного изнеможения. Потом Малыш

подвел Последыша к миске с едой, сам сел рядом и стал его угощать. Восторгу Последыша не было предела. Разве мог он вообразить, что мечта его так быстро сбывается, что он так легко найдет друга, с которым так хорошо и весело, как ни с кем в целом мире.

Малыш уступил новому приятелю свое теплое местечко, и сам уснул, положив голову ему на живот. Последышу очень хотелось спать, но он не смыкал глаз. Ему так хорошо было здесь, так восхищался он Малышом, что ему, конечно, было не до сна. Он думал о завтрашнем дне, о той радости, которой утром одарит его судьба — мальчик снова выйдет во двор, вынесет еду и, увидев незнакомца, удивится, приласкает его, накормит с рук, как Малыша, и он будет вместе со всеми жить тут, преданно охранять дом, в котором живут добрые, ласковые люди.

Малыш спокойно спал, и Последыш, хотя лапы его затекли, все равно не двигался, боясь разбудить друга. О многом еще мечтал Последыш, а на рассвете и сам не заметил, как уснул, убаюканный надеждой.

Ужасающий вопль разбудил волчонка. Было уже светло, посреди двора стояла женщина и кричала, размахивая руками и объясняя что-то стоявшему на балконе мужчине. Когда мужчина снова появился на балконе, в руках он держал ружье, женщина перестала кричать. Последыш понял, точнее — увидел, что мужчина именно на него нацелил ружье. Весь дрожа, он побежал к другу, но Малыш повернулся к нему спиной и залез к своим. Последыш решил, что и ему надо последовать за ним, но самый крупный из щенят преградил вход и злобно зарычал на незваного гостя. Женщина снова принялась кричать. Мужчина с ружьем сделал шаг в сторону Последыша. А тот почему-то не думал убежать и не рычал, только вопль женщины резал ему слух. Он и потом не двинулся с места, когда мужчина и женщина подошли совсем близко. Он только посмотрел в лицо — сначала ей, потом ему, и опустил голову, не мог дольше смотреть им в глаза. Он стоял, опустив голову, и ждал приговора, однако вместо выстрела прозвучал смех, более страшный, чем мог быть ружейный выстрел. Последыш ощутил укол в се-

рдце, тело его скрючилось от боли. Он упал, и, вытянувшись, замер.

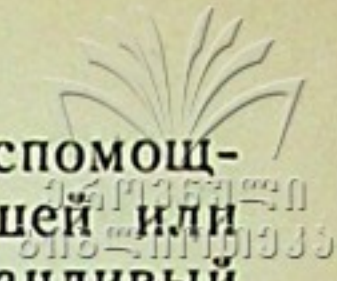
Айя замолчала. Гио ни о чем больше не спрашивал, перелез в свою постель и, заложив руки за голову, уставился в потолок.

* * *

— Ах, Евгений, ах, хитрая лиса! — пробормотал Отар. Он сидел в своем кабинете, раскрыв зоотехнический журнал и в который уж раз перечитывая статью своего приятеля о том методе, который он выработал на Дубровском конном заводе. (Редакционная приписка сообщала, что эффективность этого метода превзошла все ожидания, и им заинтересовались многие европейские государства).

Для Отара наступили тяжелые дни. Уйдя из семьи, он теперь дни и ночи проводил на работе. Сам разрушивший свое гнездо, он сейчас и эту статью читал скорее с завистью, чем с интересом, себя он чувствовал неудачником и собственная жизнь казалась ему хуже, чем была на самом деле. Едва увидев фамилию автора, Отар сразу понял, что это был тот самый Евгений Коровин, рыжий Геня, всегда прятывший свои короткие толстые пальцы, словно боялся, что и эти отрубят. Отар вспомнил Ставрополь, комнату, в которой жил с Геней и еще двумя парнями. Тогда трудно было представить, что имя Коровина станет известным Европе. Не только Отар, но и сам Геня, должно быть, не мог вообразить, что молчаливый, всегда жавшийся в угол студент так прославится.

Отар с удовольствием встретился бы с ним сейчас, чтобы вновь увидеть ничем не примечательное лицо, заглянуть в сероватые глаза, понять, откуда вошла его звезда, какие светила уступили ей путь — добровольно или по чьей-то просьбе, или под давлением силы, узнать, зачем понадобилось кому-то просить или оказывать давление ради скромного парня. «Наверное, и в небе не без того, и там кто-то ведает перемещением звезд, одну выдвигает, другую оставляет в тени, так же, как и здесь, на земле», — думал Отар, вновь испытывая зависть, которая обычно появляется у людей по отношению к счастливицам. Может быть, это была



даже и не зависть, а ощущение собственной беспомощности. Отар знал, что чувство зависти в большей или меньшей степени знакомо всем, ибо самый удачливый человек найдет всегда еще более удачливого. Понимал он и то, как легко терял человек веру в свои возможности, когда подобно однороговому быку бился об алмазную скалу жизни, как никогда нуждаясь в помощи и поддержке, чтобы на алмазной скале оставить едва заметную царапину. У такого человека обычно ничего не оставалось, кроме большого желания создать что-то ценное, хотя в себе он ощущал и талант, и достаточную силу. Может, надо было удовлетвориться тем, что он уже создал, но ведь не хватало достигнутого, сердце стремилось к большему, он еще сохранил способность мечтать. Однако трудно было в пятьдесят лет довольствоваться одними мечтами. Эти мечты становились ненавистными, докучливыми, ибо они не обретали плоть, оставались неосуществленными. Только не хотел мечтатель в этом признаться, но ведь понимал, что был обречен на забвение и безвестность, ибо не скакал по его жизненному пути белый конь с распущенной гривой, чтобы он мог вскочить на него, и жизнь не давала взойти и засветиться звезде его судьбы.

Сейчас, когда он один сидел в опустевшей конторе, когда все давно уже разошлись по домам, а ему куда уходить не хотелось, и он сидел в полутемной комнате, с трудом различал слова, напечатанные мелким шрифтом, и все равно не вставал, чтобы зажечь свет, видно, не хотел, не мог взглянуть на созданную им же самим реальность, не мог взглянуть ей в глаза. И не только то было досадно, что с житейской пылью и прахом смешались мечты его юности, хотя он был еще полон веры. Досадно было еще и то, что судьба — или собственный нрав — и сейчас, в зрелую пору, не давали ему покоя, словно он и родился лишь затем, чтобы никогда не успокаиваться, не радоваться результатам своего труда, не удовлетвориться тем, что сам создавал с любовью и от чего должен был испытать наслаждение. Отар знал, что эта строптивость перешла ему от отца. Отар считал великой несправедливостью и то, что гены этого ненавистного человека оказались столь сильными, они сожрали, подобно голодному хищнику, полу-

ченную от матери доброту, и оставили лишь то, чего не было у отца — способность страдать.

«Я — как летучая мышь, — подумал Отар, мышью ни птицей не уродился. Что делать?». Пять бессонных ночей совсем замутили рассудок. Интуиция молчала, выхода не было видно. Измученный бессоницей, ослабевший и безвольный, томился он все ночи напролет, засыпая лишь на рассвете. При этом он видел такие сны, такие путаные видения посещали его, что он никак не мог их растолковать.

...Как будто бродил он по густому лесу. Вдруг деревья уменьшились и превратились в траву, и вместо леса он оказался в чистом поле. Посреди поля, вокруг тонэ, бегала Айя в белом платье. Языки пламени достигали неба. Айя подула на огонь и затушила его. Подняла руки к небу и схватила опустившийся с неба ковш, на длинном, узком ковше лежали белые, словно снег, шары из теста. Айя прилепляла к стенам тонэ белый шар, и через некоторое время вынимала черную лепешку, смотрела на вынутые из печи лепешки из грязи и хохотала, умирала со смеху.

...Как будто по полю текла полноводная река. На продолговатом островке, поросшем яркой зеленой травой, на лезвие топора лежали его мать и отец, умоляя друг друга — подвинься ко мне, здесь больше места.

Отар просыпался, как избитый, зажигал свет и, сидя на стуле, дожидался рассвета. Посещали его и другие видения, но он их не запоминал, да и об этих старался не думать, хотя они так ясно отпечатались в сознании. Он ни о чем не хотел думать, ибо твердо знал, что не только Айю, но и Дали он не любил. Остался без любви, без очага. Эти пять долгих ночей, полных раздумий и размышлений, обострили в нем ощущение одиночества, довели почти до отчаяния. На пятую ночь Отар понял, что находился уже на грани, почувствовал, что больше нельзя оставаться во власти такого настроения. Надо вырваться из этого мрака и как можно скорее. Отар встал, зажег свет, вышел из комнаты. Долго ходил по опустевшему, залитому лунным светом двору. Чувствовал, как постепенно вливался в легкие отсыревший ночной воздух, как охлаждал лицо и разгоряченный лоб, как потихоньку ослаблялась та тя-

жесть, та напряженность, которая стала уже вызывать в нем нешуточную тревогу.

«Напрасно я дал волю нервам, — думал Отар. — То, что должно было случиться, случилось... Безвыходных положений не существует...»

Он ходил по двору и внушал себе, что не случайно назвал себя летучей мышью, для того и были у него крепкие когти, чтобы уцепиться за что-то, так за что же цепляться сейчас? Айю он оставил, Дали не любил. Гио? Гио вообще не принадлежал ему. А любовь к внуку «на расстоянии» не могла заполнить его опустевшее существование. Он ведь затем и бежал от Айи, чтобы заново чем-то наполнить жизнь. Ему казалось, что Дали принесет ему вождеденное счастье, но теперь и к Дали его не тянуло, любовь не привлекала его больше. Отар чувствовал, что искал чего-то другого, в другом нуждался. В реальном, осязаемом, своем собственном, в том, что вернуло бы ему радость бытия, заставило бы действовать, возвратило былую силу.

На протяжении этих пяти ночей у него все время было ощущение, что ему необходим некто, кто вывел бы его из заколдованного круга. Рядом с собой он не видел таких людей. А сам ни разу не подумал — может, и он кому-то был нужен? Ведь такое чувство тоже укрепляет силы, заставляет действовать. Он знал, что нужен Айе, маленькому Гио, нужен был Дали, но сами по себе они не интересовали его, потому он и не думал о них, не считался с их желаниями. Он искал лишь того, кто ему был необходим. «Я, я, я», — напряженно повторял он про себя, и вдруг сознание его осветилось, он другими глазами увидел то, о чем, собственно, ему давно было известно.

Дали ждала ребенка, его ребенка! Но до его появления на свет было еще далеко, а Отар уже сейчас, сию минуту нуждался в этой живительной силе, надежда и ожидание совсем его не радовали.

Мысленным взором он еще раз обвел свое окружение и, никого не найдя, снова вернулся к ребенку: «Не так уж и далеко до его рождения», — решил он и вцепился в эту мысль, как настоящая летучая мышь.

Теперь эта надежда стала той единственной на свете целью, что звала его к себе, к чему он сам стремил-

ся, больше ни о чем он не хотел думать, ибо ничего больше, кроме этой надежды, у него не оставалось.

На шестой день, когда Дали снова не вышла на работу, Отар отправился к ней, и когда воодушевленная его появлением женщина кинулась ему на шею, Отар почувствовал, что аромат ее тела, как и прежде, одурманил его. Отар пообещал Дали снять комнату и взять ее к себе.

* * *

— Около нас машина остановилась, — сказал Гио бабушке.

Два раза подряд раздался звук сигнала.

Гио при виде матери окаменел, но увидев ее улыбающееся лицо, подбежал к ней, крепко обнял, начал целовать.

Следом за Гио вышла Айя и, увидев плачущего от радости внука, остановилась в сторонке. Появление невестки совсем ее не обрадовало. Она знала, что ее визит не сулил ничего хорошего. К тому же, внешний вид Наны и, главное, машина вызвали у Айи вполне понятные подозрения.

А Гио никак не мог остановиться — целовал мать то в лицо, то в шею, гладил рукой по волосам, что-то выкрикивал. Айе показалось, что Нана отворачивает лицо от сына. Гио же, совсем обезумевший от радости, льнул к матери, прятал лицо у нее на груди. Айе внезапно захотелось встать между матерью и сыном, защитить от «городской потаскухи» невинную душу, но ей сразу стало стыдно своих мыслей, тем более, что Нана и сама старалась увернуться от неумеренных ласк мальчика.

Наконец наравдовавшись в досталь, Гио повернулся к машине.

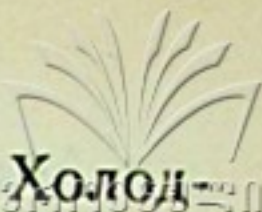
— Покатаешь меня, мамочка? — в его голосе звучала мольба.

— Конечно, — ответила Нана и, только сейчас заметив Айю, поздоровалась с ней.

Айя придерживала калитку и пропустила Нану во двор.

— Я буду в машине! — крикнул им вслед Гио.

— Ничего там не трогай.



Нана держалась официально, как чужая. Холодным, равнодушным взглядом, без всякого интереса, огляделась вокруг и села в передней.

— Ну как ты живешь? — спросила Айя.

— Хорошо, — коротко отрезала невестка.

Больше они не произнесли ни слова. Сидели друг против друга и молчали. Прервать это невыносимое молчание решилась Нана.

— Я приехала, чтобы забрать Гио, — проговорила она.

После отъезда Наны в город Айя непрестанно ждала этого дня, но сейчас, когда эта минута наступила, сердце у нее сжалось. Значит, она все-таки не верила до конца, что у нее отнимут ее единственную надежду.

Нана даже не взглянула на Айю, ей все было ни почем. Лишь не получив ответа, посмотрела на свекровь, однако на ее лице она ничего не прочла, и тогда Нана повторила еще более холодно и резко:

— Я должна забрать Гио.

— Гио тут ни в чем не нуждается, — после недолгой паузы глухо прозвучал голос Айи.

— И в матери тоже? — с вызовом спросила Нана.

— Ты, наверное, будешь на службе с утра и до вечера, жалко мальчика...

— Существуют группы продленного дня... Отдам его туда.

— Ему будет трудно, он привык к свободе, — как можно убедительнее проговорила Айя. — И ты будешь связана по рукам и ногам...

— Почему вы меня оскорбляете? — неожиданно вспыхнула Нана.

— Как я могу тебя оскорбить?

— Я знаю, что вы обо мне думаете.

— Я не о тебе думаю, меня Гио тревожит.

— Со своим сыном я сама как-нибудь справлюсь.

— Не забирай его... Послушай меня... здесь ему будет лучше.

— Я опаздываю! — сказала Нана.

— Значит, ты настаиваешь на своем? — еще раз попытала судьбу Айя.

— Если вас слушать, так и я должна тут остаться... — с этими словами Нана поднялась.



Айю взбесило упрямство невестки, а еще больше — собственная беспомощность. Она стояла молча, не произнося ни слова, хотя ей казалось, что она кричит, кричит громко, протяжно, не призывая кого-то на помощь, а стараясь приглушить свое отчаяние. Она и сама не заметила, как упала перед невесткой на колени, как обвила руками ее ноги.

— Не забирай Гио.

— Нет, — сказала Нана и, высвободившись от свекрови, направилась к калитке.

— погоди! — Айя поднялась с колен.

Нана остановилась.

Айя вынесла из комнаты чемоданы.

— Здесь его одежда и книги... — Она замолчала. Потом добавила: — А теперь уходи!

Нана забрала чемоданы и пошла со двора. Уложив чемоданы в багажник, открыла дверцу машины и сказала сыну:

— Дай-ка мне сесть!

Гио быстро пересел на другое сиденье.

Нана завела машину. Гио опустил стекло, радостно предвкушая встречу со сверстниками — хотелось покрасоваться перед ними.

— Мама, а ты долго будешь меня катать? — спросил он.

Нана не ответила.

Машина достаточно далеко отъехала от дома, когда Гио снова спросил у матери.

— Куда мы едем?

— В Тбилиси... Ты будешь жить у меня.

— А бабушка Аико?

Нана ничего не ответила.

— Я же не попрощался с ней!.. Останови машину! — С этими словами он начал открывать дверцу.

— Не смей! — крикнула Нана и остановила машину.

Гио выскочил и что было сил побежал к дому.

— Бабушка Аико!.. Бабушка Аико! — кричал он на ходу, не переставая кричать, вбежал во двор, но никто не отзывался.

Первый этаж оказался пуст.

Гио поднялся по лестнице — но и наверху никого не было.

Тогда он вышел на балкон и снова стал звать Айю. Ответа не было.

Гио побежал к саманнику, громко окликая бабушку, открыл дверь, заглянул, но и там никого не нашел. Он закрыл за собой дверь, не заметив в углу лежавшую почти без сознания Айю.

* * *

Гаянэ в тот же вечер сказали о том, что приехала Нана и забрала сына в город. Всю неделю Гаянэ пролежала в постели, но эта новость заставила ее позабыть о болезни, она хотела немедленно встать и пойти к Айе. Потом она решила, что лучше подождать, пусть Айя придет в себя. «Наверное, сидит сейчас, стиснув зубы, — думала Гаянэ, — не плачет, Бог знает, о чем думает... В такую тяжелую минуту нет никого, кто бы мог ее поддержать, утешить... Она и сама не ищет утешения. Ни слова не говорит о несчастьях, которые подряд — одно за другим — наваливаются на нее. Видеть никого не желает, а если кто и посмеет приблизиться, ни о чем спросить все равно не рискнет, а о сочувствии и говорить нечего...»

Гаянэ взяла на себя всю ответственность, и в сентябре не оформила приказ об уходе Айи из школы. На возвращение Айи она уже не очень надеялась, но решила хотя бы стаж ей сохранить. Сейчас появилась возможность снова просить Айю вернуться в школу.

* * *

— Что-то я себя неважно чувствую, если ты не возражаешь, прилягу, — сказала Дали и легла.

Отар еще долго не ложился, то читал, то смотрел бокс по телевизору, но время все равно тянулось очень медленно. Спать ему не хотелось. Он вышел на балкон покурить. На ясном зимнем небе кое-где виднелись звезды. Отар взглянул на небо и вспомнил, как в молодости искал свою звезду. Сейчас ему было не до звезд, мысленно представил он себе тот дом, в котором он прожил двадцать три года. Должно быть, Айя тоже не спит, — почему-то подумалось ему. Настроение у Ота-

ра совсем упало. Где-то рядом завыла собака. Отар очнулся, только сейчас почувствовал, что замерз в одной рубашке на балконе. Он неслышно вошел в комнату, разделся и лег рядом с безмятежно спавшей Дали.

Едва согревшись, Отар сразу уснул, и ему приснилось, как будто он бил Дали. Она смеялась, а он изо всех сил бил ее, она падала, но тут же снова вставала и не убегала, не плакала, стояла и смеялась...

Отар проснулся весь в холодном поту, с облегчением вздохнул, поняв, что все это сон. Он больше не пытался уснуть. С того дня, как он ушел от Айи, снял комнату и стал жить с Дали, совсем лишился покоя. Он не мог сказать, что на этот шаг его толкнула решимость Айи. Он и сам чувствовал, что Айя угадала его желание и не стала держать мужа при себе, словно узника, но тем не менее ему было обидно, что она так легко с ним рассталась. Отар считал, что Айя должна была приложить все усилия, не отпускать его ни на шаг, ибо в тот период он явно запутался и нуждался в помощи. Ей следовало держать его при себе, пока его помутившийся рассудок не прояснился бы вновь. Айя не должна была давать ему возможность нарушить клятву. Отар горько сожалел, что подчинился велению сердца, что послушался жену в те минуты, о которых даже вспоминать было неприятно, жену послушался, а, может, поверил своему сердцу. Правда, в тот день не было разговора о чувствах, да и откуда ему взяться, если причиной всему и явилось как раз угасание чувств. Но Отар был уверен также, что и он Айе больше не нужен. Только спустя некоторое время Отар понял, что сам сочинил эту причину и поверил в нее. Понял он также и то, что сочинил все это для собственного оправдания. В такие минуты он особенно остро ощущал свой эгоизм и еще больше ненавидел себя и того человека, чья кровь наделила его этим свойством.

Как-то раз Дали сказала ему, что Айя задолго до его ухода все знала. Тогда Отар стал внушать себе, что жена именно из-за его измены отказывалась от близости с ним. Он толковал мысли и настроения Айи, ее слова и поступки так, как это было удобно ему, все он мерял на свой аршин. Для Отара близость с женой, потерявшая с возрастом былую остроту и ставшая про-

сто привычкой, больше походила на совместный обед, чем на чувственное наслаждение. Он думал, более того, был убежден, что Айя рассуждала так же. Но со временем он стал вспоминать голос жены, то, как она прятала лицо, припоминал другие мелочи и наконец понял, что Айя скрывала от него свои чувства. Сейчас Отар верил, что для Айи быть с ним всегда было счастьем и что она отказалась от этого счастья из-за смерти сына.

Дали спала. Отар долго разглядывал подурневшее, отекавшее и расплывшееся лицо беременной женщины, которая потеряла всю свою соблазнительность, ту самую, которая привела Отара сюда. Зато она ждала ребенка. Отару уже было радостно это ожидание, хотя он прекрасно понимал, какой ценой ему досталась эта радость. Духовно Дали оставалась для него столь же чужой, как и прежде, только теперь он острее это ощущал.

Дали спала спокойно, но и в состоянии покоя на лице ее проступало то неприятное, отталкивающее, к чему он никак не мог привыкнуть. Вот и сейчас он поспешно отвел глаза в сторону. Ясно было одно: та радость, которая не повиновалась рассудку, была сильнее того, что в ней его раздражало. Главным все-таки было то, что они ждали ребенка. Для него это означало продолжение жизни. Он верил, что рождение ребенка будет победой над судьбой, которая хоть и не раз испытывала его, но все равно не сумела свалить, растоптать, сломить. Должно быть, потому, что в нем всегда преобладала любовь к жизни. Отар непрерывно мечтал о будущем счастье, которое должен был принести с собой его ребенок. Порой ему приходило в голову, что с рождением ребенка его уход от Айи будет оправдан. В такие моменты его не волновало даже прошлое Дали. Мечта о ребенке поглощала все...

Дали зашевелилась и проснулась, рукой нащупала грудь Отара и приласкала его.

Съезжившийся в уголке кровати, Отар притворился спящим.

* * *

— И вы тоже от весны опьянели, мои хорошие? — приголубила Айя трехдневных желтеньких цыплят, еще

нетвердо державшихся на лапках. Пошатываясь, они бродили вокруг наседки, падали, но тут же вставали, снова падали и все равно старались подняться, ибо еще находясь в скорлупе, они уже твердо знали, что упав, нужно непременно встать, как бы сильно ты ни упал и как бы больно тебе ни было. Цыплята напомнили Айе о том, что этот инстинкт был одинаково присущ и людям, и животным.

Зима дала трещину, аромат весны надломил ее. Правда, еще по утрам воздух был морозный, но в саду миндальное деревце все же победило, почки набухли и приготовились к расцвету, словно девушка, поджидающая жениха. Глядеть на него было приятно... Первая весна наступала для Айи, если новый отсчет в ее жизни мы начнем с той весны, когда Леван их покинул. Смерть Левана вынудила уйти из дома Нану, затем Отар начал свою новую жизнь, потом Нана забрала Гио, и разорвались звенья цепи... Совсем опустел большой дом Айи, ее очаг, а себя она считала ангелом-хранителем этого очага, трудилась не жалея сил, чтобы сберечь пылающий в нем огонь.

Вымер дом Айи. Словно лунатик, бродила женщина вверх и вниз по лестнице, каждая вещь о чем-то напоминала ей, все вокруг казалось изменившимся или просто она теперь смотрела на все другими глазами. Айя смотрела на вещи, оставшиеся без употребления, они стояли, словно онемев, потеряв свое бывшее предназначение и прежнее очарование. Айя вспоминала, когда, что и как они приобретали; она удивлялась, зачем надо было отказывать себе во всем, чтобы приобретать все это? Почему ей не хотелось следить за собой, почему снедала тревога — семья нуждается то в одном, то в другом. Айя не знала, что вызывало в человеке это неудержимое стремление — женское начало, любовь к родному очагу или что-то другое?

Может, зависть? Айя с досадой думала о том, зачем Господь устроил жизнь таким образом, что желаниям человека не было предела, если все равно наступал день, когда все теряло свой смысл. Почему люди с детства не знали, что самое дорогое на земле — человеческие взаимоотношения. Почему до Судного дня не понимали, что только их отношения придают всему смысл


и красоту, сами по себе вещи не имеют никакого смысла. «Почему? — думала Айя. — Зачем Господь посылает человеку столько испытаний? Зачем терзает его, если сам породил его на свет, одарил солнечным светом? Почему он в таком случае не заботится о благе человека, о том, чтобы ему было хорошо, пока он жив?»

А если и в самом деле причиной посланных страданий были людские грехи, то почему не отделены друг от друга грех сознательный и грех невольный? Почему творец не создал человека таким, чтобы хотя бы от неосознанных грехов он был свободен? «Почему он гневается на свое же собственное создание, зачем наполняет вечной печалью того, в кого сам вдохнул душу?» — думала Айя. Но она знала, что не была первой, задающей такие вопросы в минуту испытаний, и она умолкла в бессилии, перестала думать, ибо разбираться в том, что было вечно и будет вечно под солнцем, все равно, что искать ветра в поле.

Айя взялась за рукоделие, хотя и не знала, что вязала, для кого и зачем? Однако мозг ее продолжал лихорадочно работать, по-прежнему мысль тянулась за мыслью, и Айя вспомнила, что в какой-то газете вычитала — в лесу после истребления волков стали гибнуть олени. «И люди погибнут, если у них будет сладкая жизнь», — подумала Айя и уже спокойнее продолжала вязать, мысленно сопровождая по улицам города внука — ее маленькую радость и горе. Вместе с ним осмотрела она воображаемую городскую комнату внука, детский садик, Муштаид и фуникулер.

Мысли Айи были прикованы к внуку, отнятому у нее чуть ли не силой. Айя не сомневалась в том, что Нана любит сына, но она хорошо знала ненасытную натуру снохи и боялась, что, чересчур заботясь о себе, Нана позабудет о сыне. Поэтому в ожидании приезда невестки Айя трудилась, не покладая рук, собрала одежду на этот год и на будущую зиму и лето. Выстирала и выгладила белье, сложила все в чемоданы и спрятала их до того дня, как начнет кружить над ее головой беспощадный коршун, чтобы похитить ее единственную надежду.

Айя настолько привыкла вставать чуть свет, что даже сейчас, когда никаких срочных дел у нее не бы-



ло, — ни наутро, ни к полудню, она все равно поднималась до восхода солнца. Она была все время в движении, но все равно дни тянулись невыносимо медленно и однообразно. Она ломала голову, выдумывая себе дела, принималась за них, но обмануть себя удавалось ненадолго. Однажды, ничего не придумав, она сняла с кухонных полок и без того вычищенные кастрюли, вынесла их во двор и начала тереть их песком. Потом каждую ополоснула водой и выставила сушить. Она устала, но была довольна — так или иначе еще один день был позади. О наступлении вечера уведомило ее возвращение коровы. Корова с раздутым выменем, скинув с калитки засов, вошла во двор. Айя вынесла белое эмалированное ведро, ополоснула его, отпустила привязанного теленка, который жадно приник к вымени и, не переводя дыхания, стал сосать.

Айя подошла, чтобы отвести теленка в сторону и сначала подоить корову, но он посмотрел на нее такими глазами, что она не стала его трогать, села и любовалась счастливым теленком до тех пор, пока насытившийся и довольный, он сам не отошел от матери.

С новолунием в марте начались дожди. Всю неделю шел нудный, непрекращающийся дождь. Айя бродила по своему большому опустевшему дому, страдая от безделья и безнадежности, то за одно бралась, то за другое, но душа ни к чему не лежала. Потом нашла старые джемперы, распоролла и начала вязать новый.

Уже третий день, как не появлялись соседские близняшки. В последнее время они частенько навещали ее, рассказывали о своих делах, забавлялись игрушками Гио.

Заслышав скрип калитки, Айя вышла в переднюю. Увидев ее, соседская девочка Нино остановилась посреди двора, держа дырявый зонтик в руке.

— Заходи, Нино, — пригласила Айя.

— Мама понесла лобио на базар... — еле слышно проговорила девочка.

— Лобио?

— Да. И сказала, если она опоздает, чтобы я попросила у кого-нибудь из соседей хлеб.

— А хлеба у меня-то и нет! — огорчилась Айя. Нино собралась уходить.

— погоди! — вслед ей крикнула Айя, вернулась в комнату, вынесла деньги, — сбегай в магазин, принеси!

Обрадованная девочка побежала со всех ног.

— Пришли ко мне братьев и сама приходи!

Айя поставила на плиту воду. Поймала жирную курицу, зарезала ее и начала ощипывать.

Во двор вбежали перемазанные в грязи близняшки.

Айя при виде их не смогла сдержать смеха.

— Где же вы так измазались, мои хорошие! — У вас и волосы, небось, мокрые? Ступайте сюда, иначе простудитесь: подождите, придет ваша мама...

Айя поставила курицу на огонь, велев мальчикам умыться. Они устроили возле крана возню, еще хуже перемазались и вымокли до нитки. Айя загнала их в дом и стала тщательно вытирать их полотенцем.

— А ну-ка, раздевайтесь, — она вытащила из-под тахты чемодан, раскрыла его и достала поношенные вещи Гио.

Умытые и одетые близняшки выглядели так трогательно, что Айя не в силах удержаться, принялась обнимать то одного, то другого.

Близняшки радостным криком встретили сестру — она вошла со своим дырявым зонтиком и с хлебом в руках.

* * *

Айя подметала двор, когда пришла Гаянэ. Она обрадовалась ее приходу, бросила веник и, улыбаясь, поспешила ей навстречу. Эта улыбка немного успокоила Гаянэ, она даже подумала про себя: ненормальная я какая-то, преувеличиваю трагедию Айи, но приблизившись к ней и заглянув в лицо, Гаянэ убедилась, что в запавших от горя глазах Айи застыло отчаяние. Гаянэ растерялась, поняла, как глупо было, сидя дома, строить планы в надежде на то, что она придет к Айе и утешит ее.

— Ну и бессовестная же ты! Ни разу не навестила больную старушку!.. — пошутила Гаянэ, обняла Айю, расцеловала ее и добавила: — Совсем забыла меня!

Айя слегка улыбнулась и виновато ответила:

— Я никуда не хожу.

Они вошли в комнату, блиставшую чистотой, от этой чистоты на Гаянэ дохнуло холодом.

— Зря! У этой бестолковой жизни только ^{если} мимоходом урвешь какую-нибудь радость, а так ^{ска-}зала Гаянэ, пристраивая свою палку у стены, потом она взглянула на Айю и всплеснула руками.

— Нет, дорогая, я окончательно убедилась, что задумываться над этой жизнью — ошибка, бесплодное занятие, — помолчав, добавила, — из кожи вон лезем, обхаживаем ее, стараемся чем-нибудь украсить, а она — все свое, даже не глядит в нашу сторону.

Айя взглянула на Гаянэ, но ничего не ответила.

— Меня только одно удивляет, почему мы все никак ума-разума не наберемся, зачем боремся с тем, что сильнее нас.

— Так уж устроен человек, — подала голос Айя. — Испытывает свои силы, а вдруг чудо произойдет и он победит.

— Вдруг... Вдруг... В том-то и беда, что никакого чуда не происходит.

— А может, однажды произойдет. Ожидание — это уже что-то...

— Я-то не доживу, а вам Бог в помощь, — засмеялась Гаянэ. — Я одно могу сказать: борьба с жизнью никому еще добра не приносила.

— И вам тоже? — спросила Айя.

— Я не в счет, — усмехнулась Гаянэ, — я лучших сыновей народа имела в виду.

— Им от рождения суждено нести на себе эту ношу. Они уже привыкли к тому, что не принадлежат себе.

— Тяжкая ноша, неблагодарная. Я всю эту неделю пролежала. Думаю, дай хоть Илью Чавчавадзе перечитаю, и знаешь, на что я внимание обратила?

— На что?

— Сначала скажи, любишь ли ты Илью?

— Люблю.

— Такого живого, мощного языка у других писателей не найдешь, сколько ни старайся. И вот досада, его стихи и рассказы в два тома умещаются. А в остальных восьми томах — статьи, кровью, нервами написанные статьи... Ему на творчество времени не хватало, понимаешь?



— Понимаю...

— А результат?

— Илью подонки убили!

— Называй убийцу как тебе будет угодно. Но факты — вещь упрямая.

— Это позорное исключение.

— Хорошее оправдание, нечего сказать! Свои его убили, вот что меня ужасает!

— Два-три урода не могут испоганить весь народ.

— Даже если они убивают предводителя этого самого народа?

— Да.

Гаянэ замолчала.

— Поверь, это пятно чем дальше, тем заметнее будет, — сказала она после паузы.

— Возможно, — про себя проговорила Айя, не глядя на Гаянэ.

Увлеченная спором, Гаянэ совсем забыла о цели своего визита. Невозмутимое сопротивление Айи вывело ее из себя. Гаянэ хотелось, чтобы Айя, как и она, осудила опозоривших нацию преступников, предала анафеме их предков и потомков, но не удалось ей заразить Айю своей горячностью, и поэтому вместо того, чтобы успокоиться, она еще больше распалилась.

— А убить человека языком, словом, — это что, по-твоему, тоже исключение?

— Это не только наша беда, а общая. Как выясняется, у человека для того два глаза, чтобы одним на солнце глядеть, а другим — во мрак.

— Выходит, что и Господь Бог был двуликим. Ведь говорят, что он создал человека по образу и подобию своему?

— Этого я не знаю, но семена, должно быть, он посеял, а человек сам уж их взращивал, они и полезли, как грибы после дождя.

— И для чего же?

— Для жизни... Свет без мрака не был бы столь прекрасен, чтобы мы могли на него молиться.

— Ты так спокойно отыскиваешь всему объяснение и оправдание, словно жизнь мимо тебя прошла, и тебе одни радости достались, а другим — все остальное, — Гаянэ уже теряла терпение.



— В природе все закономерно... — так же невозмутимо проговорила Айя.

— Нет, эта женщина сведет меня с ума, — закричала Гаянэ, ей показалось, что Айя вовсе махнула рукой на жизнь, — тогда почему ты сама не станешь бесчувственной, почему не уподобишься тем, кто, кроме себя, не помнит ни о ком, почему не озлобишься, почему изгоняешь из сердца обиду, ревность?

— Я родилась такой, другие — другими, — спокойно отвечала Айя. — И не дай Бог, чтобы все были похожи на меня. Жизнь превратилась бы в болото.

— Жизнь была бы тогда прозрачной и чистой, как горный ручей...

— Вы добрый человек и не замечаете или не хотите замечать моих недостатков.


— Это каких же?

— Да не знаю, с чего и начать... Неуступчивая я, с характером... Слишком многого требую от других.

— Потому и требуешь, что еще больше сама отдаешь... А вот характер, это действительно, упаси нас Боже! — Громко рассмеялась Гаянэ. — Удивляюсь я только, почему Господь немного эгоизма тебе не дал?

— Наверное, когда я родилась, он спал, — пошутила Айя.

— Ты, как скорпион, пожираешь самое себя! — сказала Гаянэ и добавила с улыбкой. — Я потому решаю тебе это говорить, что ты сама начала... Природа не ошибается... Я тоже так считаю. Для того она и наградила человека любовью к себе, чтобы он мог с жизнью схватиться и другу и недругу воздать по заслугам. Ты-то в кого такая удалась? Когда я думаю о тебе, всегда свою тетушку вспоминаю. Красивая была женщина, статная. Четверых родила. Младший — Алекси на два года был старше меня. Однажды, мне тогда лет четырнадцать было, Алекси принесли из лесу еле живого. Лекарь к нему даже не притронулся, все равно, говорит, не жилец он. Тетушка рыдала, стоя на коленях перед любимым сыном, когда привели священника. Священник поглядел на парня и отказался его причащать: будет, говорит, жить, если мать его заменит! Все замолчали, даже плакать перестали, дыхание затаили и смотрят на тетушку, которая с колен



поднялась и, опустив голову, стояла, как каменная, не собираясь вместо сына на тот свет отправляться. Священник еще раз повторил: мать может спасти умирающего. Когда он в третий раз обратился к ней: — Ты слышишь, что я сказал, женщина! — тетья все равно не двинулась с места. Тогда ее младшая сестра передала грудного ребенка стоявшей рядом соседке и встала перед батюшкой на колени: я, говорит, заменю его. Батюшка поднял ее, подвел к умирающему, еще раз взглянул на мать Алекси и начал причащать его. Люди зароптали, некоторые чуть ли не в лицо тетушке плевали, а она рвала на себе волосы, била по щекам и кричала не своим голосом. А вот умереть вместо сына не хотела. Никто не подходил к ней, женщины проклинали ее, чуть камнями не забросали. Батюшка выпроводил всех, кроме матери, а младшую сестру ее поцеловал в лоб. Вот тогда, Айя, я поняла, что значит жизнь, и не забуду этого никогда...

Гаянэ ушла поздно.

Айя заново перебрала в памяти все, что она говорила, выделила главное. Понимала, что во многом Гаянэ была права, и сейчас, оставшись одна, готова была склонить голову перед этой правдой. Знала, что эту правду создала жизнь, настоящую правду, которую никак не обойти, если хочешь жить. Но Айя все же склонялась в другую сторону. Обожеествляла ту жизнь и те отношения между людьми, когда человек не требует всего для себя, а отдает сам, отдает прежде всего свою душу и все остальное, что имеет. Но на свете, оказывается, мало кто заметит и поймет твою жертву.

Айя благодарна была Гаянэ за ее приход. Она понимала, для чего старуха вспомнила ту старую историю, главной героиней которой, мечтой Айи, была младшая сестра, мать грудного ребенка, но Гаянэ не рассчитывала, как больно ранит сердце Айи ощущение бессилия, которое зиждется на житейской мудрости: все хотят жить!

Айя ненавидела эту человеческую слабость, не хотела мириться с бессилием перед лицом смерти. Ей казалось, что она могла поклясться перед Господом, что для нее жизнь не была сладкой. Она не желала стоять в ряду тех, кто цеплялся за жизнь, но ничего не могла

поделаться с собой, хотя, что бы ей ни казалось, она тоже была человеком, и нравилось ей это или нет, и для нее была желанной.

Айя почувствовала, что Гаянэ обижалась на нее. Обижалась на то, что Айя и словом не обмолвилась об уходе Отара, и хотя Гаянэ не заговаривала об отъезде Гио, Айя понимала, что именно это и привело ее сюда. Она решилась лишь на то, чтобы тайно выразить свое сочувствие, любовь, заботу, чего Айя избегала, хотя, как оказалось, нуждалась в них. Айя считала Гаянэ своим другом, они любили друг друга, как мать и дочь. Айя знала, что эта старуха, полная жизненной силы, сможет понять все, принять близко к сердцу ее печали, но она молчала о своих личных делах потому, что была уверена, всякое слово обесценит душевную боль, а боль для того и посылает Господь человеку, чтобы она была болью.

* * *

— Когда Гио приедет? — спросил Айю появившийся во дворе один из близняшек.

— Скоро, скоро приедет, — ответила Айя.

— И больше не уедет?

— Нет, не уедет, останется здесь.

Мальчик замолчал, не решаясь признаться, зачем пришел.

— Какую игрушку тебе дать? — спросила Айя.

— Машину, — не поднимая головы, ответил ребенок.

Айя вынесла машину.

— Я не сломаю, принесу до приезда Гио, — пообещал обрадованный мальчик и побежал со двора.

«Приедет, приедет... Когда же она его привезет?» — думала Айя. Сейчас она лишь об одном мечтала, чтобы он был рядом, сама она по-прежнему ничего о внуке не знала, и главное, никакой возможности что-либо узнать о нем не имела. И адреса у нее не было, и никаких знакомых в таком большом городе, где зачастую даже соседи не знали друг друга. В тот день, когда Нана увозила Гио, Айя была в таком состоянии, что не сообразила узнать хотя бы адрес. А Нана, Нана, должно быть, и не вспоминала Айю, и вряд ли появилась

бы здесь без крайней нужды. Айя молила Бога, чтобы эта нужда поскорее настала, но никто не слышал молитвы одинокой и всеми покинутой женщины. Айя и это считала волей Провидения и ждала... Ждала годовщины смерти сына, надеялась, что у Наны хватит совести не забыть так скоро этот день...

У Айи ничего не оставалось, кроме дома и кладбища, но им она служила преданно, как умела, как могла.

Теперь, в пору одиночества она чаще задумывалась над вынесенным себе самой приговором о забвении всех и вся, о подавлении всех желаний. О той бесцельной и бесполезной жизни, которая не соответствовала ее натуре. Айя понимала, что сама виновата в этом, может, ей и надоело это бессмысленное существование, но круг, в который было заковано ее бытие, был выкован из такой стали, что разорвать его было непросто.

Раньше она и близко не допускала подобных мыслей, но теперь они подняли головы, и Айя, измученная одиночеством, уже не боролась или больше не могла бороться с ними, потому что они бурлили как бы сами по себе, никак не влияя на ее любовь к сыну. А это для нее было главным. Айя понимала, что эти перемены пришли вместе со временем, временем, которое было и страшным, и прекрасным, несущим и увядание и расцвет, было убийцей и неподобным лекарем. Оно мчалось без остановки и по пути всех одеяло собой. К сраженному отчаянием оно возвращалось и дважды, и трижды, не пренебрегало никем, никого не оставляло без искры надежды. Айя чувствовала, что ее время еще не созрело, еще рассеются тучи и на ее небе, и поэтому она ждала, ждала чего-то еще не осознанного.

Дело шло к вечеру, когда появился Отар. Он осторожно открыл дверь в столовую. С тех пор, как он ушел из дому, Айя ни разу не видела его, и его лицо, встревоженное, усталое и почерневшее, испугало ее. Мысль Айи тотчас устремилась к внуку, в мгновение ока она очутилась у двери и, от ужаса лишившись дара речи, пристально взглянула на человека, который был одновременно и таким близким и таким далеким.

— Айя... — начал Отар, не поднимая головы, но осекся, не в силах продолжать.

У Айи отлегло от сердца — таким тоном он не стал бы говорить о внуке.

— ...Дали... прими у нее роды...

Айе показалось, что она ослышалась, и глаза ее, устремленные на Отара, выражали полное недоумение.

— Ее нельзя везти в район... — проговорил Отар.

Айя засмеялась, невольно, неожиданно.

Отар молча повернулся и ушел.

Айя почувствовала, как ноги стали ватными, она прислонилась к стене, чтобы не упасть, и бессмысленным взором уперлась в пространство. Вот, оказывается, чего она ждала, вот что готовила ей судьба!.. Постепенно она успокоилась, собралась с мыслями и стала утешать себя тем, что в натуре человека была заложена жестокость, и с этим ни она, и никто другой ничего не смог бы поделать. «Боже, дай мне силы», — взмолилась она и быстро поднялась наверх. Открыла шкаф, достала вещи, оделась, подошла к зеркалу, подняла руки, чтобы причесаться, но увидев себя в зеркале, заплакала, горько, обреченно. Села там же на стул, внезапно обессилев. «Сейчас не время нюни распускать, надо идти, — подумала она, когда слезы высохли, — вот я и понадобилась ему... Надо помочь», — внушала она себе, но не могла подняться со стула, ноги совсем не повиновались ей. «А кому, собственно, я должна помочь?» — неожиданно, помимо ее воли возник вопрос. — «Она разрушила мою семью... я ненавижу ее». Потом она заставила себя встать, накинула плащ и спустилась по лестнице.

«Может, Бог для того все это подстроил, что сомневается во мне?» — думала Айя по дороге к дому Отара. «Вот перед каким выбором он меня поставил... Испытывает меня... я должна ей помочь... Должна...

А могу ли я что-нибудь?..

Зачем он посылает мне столько испытаний, разве я сознательно сделала что-нибудь плохое в жизни?.. Неужели ему недостаточно моих страданий?.. Почему он не отпустил мне моих невольных грехов?..

Нет, они не стоят того, чтобы я им помогала...

Но я не имею права бросить их в беде... Не имею права...

А обо мне кто-нибудь подумал?..

Господи, прости меня, я сделаю все, что ты велишь, только бы Гио было хорошо...

Добро... добро... Делай добро — и ничего не бойся. Как долго я, дуручка, считала, что прав был тот, кто это сказал... Сколько добра обернулось злом для меня... Сколько!..»

Уже наступили сумерки, когда Айя добралась до дома, в котором жил теперь Отар. Завидев дом, она остановилась, ноги не несли ее во двор. Она постояла так некоторое время, потом перешла на другую сторону улицы и встала под деревом. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь из знакомых, или сам Отар, увидели ее и повели в дом, но как нарочно, никого не было видно.

...Ее привели в себя фары автомобиля, выскочившего из-за поворота. Только тогда она поняла, где находится. Вспомнить не могла, когда она убежала. Машина проехала, и снова стало темно. Только удалившись от дома Отара, Айя почувствовала, что начала успокаиваться.

Чьи-то шаги и негромкое пение напугали ее, она вышла на середину улицы и прибавила шагу. Она ощущала боль во всем теле, ныла каждая клеточка, но она все равно не сбавляла темпа.

Она сделала свой выбор. Не ей судить, правильно она поступила или нет. Ясно было одно, она не чувствовала себя больше лишней, как прежде. К ней вернулись силы, она убедилась, что еще в состоянии сопротивляться, решать свою судьбу, самостоятельно выбрать свой путь. Но каким был этот путь? Кто наставил ее на него? Куда она торопилась? И зачем?

Ничего она не знала. Шла по безлюдной улице и думала о том, сколько таких, как она, проходили здесь и в такое время и еще позже, в одиночку и с возлюбленным, огорченные или радостные. И каждый помаленьку одолевал этот путь, ибо все равно, его предстояло пройти именно ему, другой не мог сделать это вместо него.

Айя шла по темной неровной дороге, конца которой не было видно так же, как не было конца у мглы,

которая словно для того и обволокла все вокруг, чтобы довести человеческие страдания до совершенства духа.

А что такое вообще совершенство духа? Зачем понадобилось Провидению совершенство человеческого духа, если самого человека не беспокоили его недостатки, если он и так доволен своим куцым счастьем, доволен тем, что вообще живет на свете. Кто придумал это совершенство и зачем? Что еще было совершенного на свете, чтобы совершенной была душа? Кому это вообще нужно, если человеку отпущено всего каких-нибудь шестьдесят лет жизни, а из этих шестидесяти четвертую часть он вообще проводил бессознательно и еще столько же уходило на сон?

Айя не знала ответа на эти вопросы. Не знала и того, у кого можно спросить, где узнать суть этого совершенства, о котором все говорили, но никто не знал, кому понадобилось придумывать его, что под ним подразумевалось, кому оно было предназначено, если сама жизнь была причиной всевозможной низости.

Ничего больше не знала Айя. Она шла вперед, только вперед, и не сводя глаз, смотрела на мерцающий в ночной тьме огонек. До него было еще далеко, но эта мерцающая в небе лампочка освещала тьму, подобно надежде, и Айя не боялась больше ни одиночества, ни темноты.

* * *

Перед самыми родами у Дали на ноге образовался тромб, и начались страшные боли в кровеносных сосудах. Ее нельзя было трогать с места. Врач из районной больницы прибыл поздно, осмотрел роженицу. Сначала отказался принимать роды в домашних условиях, но схватки уже начались и предполагавшаяся опасность ничего не меняла.

На рассвете родился мальчик.

Была спасена и Дали.

...На третью ночь Отар лег поздно. Ему очень хотелось спать, но он не тушил света и раза три за ночь вставал. Когда ложился в третий раз, посмотрел на часы, была половина пятого, спокойно спали и маленький Амиран, и Дали.

Снова уснуть было нетрудно. Едва он положил голову на подушку, усталое тело расслабилось и сон принял его в свои объятия, как теплая и заботливая нянюшка. Не заставили себя ждать и сновидения.

...Как будто он был на свадьбе, только не знал точно, кто женился — он или его отец, или они оба. Сам он был в солдатском мундире, отец — в черном костюме. Отар сидел на деревянном коне, как в детстве, Лука — на черном скакуне. Отар женился на Дали, отец — на кукле, сшитой из красных лоскутов... Называлось это свадьбой, но не было ни накрытых столов, ни гостей. Посреди двора прямо на сухой земле сидели музыканты и играли на дудуки¹.

...Дали в свадебном платье вскочила на стол, не покрытый скатертью, и начала танцевать, постепенно скидывая с себя одежду. Отару было стыдно, он сердился на Дали, но невеста не слушала его, вертелась, кружилась, приседала, скакала с одного угла стола на другой, при этом что-то выкрикивая. Когда Отар подскочил, чтобы спустить ее со стола, Дали остановилась сама и на его глазах превратилась в страшного дракона: ее жемчужные зубы почернели, поменялись местами лицо и затылок, живот и спина, колени и щиколотки. Руки вывернулись и оказались на спине, ступни тоже повернулись назад, из волос потекла кровь. Дали придвигалась к Отару, хотела его обнять. Окаменевший от ужаса Отар способен был только кричать, громко, непрерывно, душераздирающе...

Проснулся он от собственного крика.

Уже рассвело. В комнате было холодно. Отар сразу пришел в себя, встал, развел в очаге огонь и подошел к ребенку. Коснулся рукой его лица — Амиран был холоден как лед. Согреться, подумал Отар, и собрался выйти, чтобы выкурить сигарету, но что-то заставило его остановиться и вернуться. Он начал поспешно разворачивать ребенка, хотел положить его к матери в теплую постель. Но когда он освободил младенца из пеленок и взял на руки, понял, что Амиран был мертв.

Ощущение полной беспомощности перед тем, что произошло, чего никто не мог изменить, парализовало

¹ Восточный муз. инструмент.

его. Он не ожидал такого конца. Не думал, что судьба так жестоко расправится с ним. Оглушенный несчастьем отец сидел над охладевшим трупом сына и не мог ни о чем думать... В мгновение ока рухнули возведенные уже не в молодом возрасте воздушные замки, словно мыльный пузырь лопнула мечта, как только дохнуло реальной жизнью.

Отар чувствовал, что не сможет пережить эту насмешку судьбы. Он ненавидел себя и весь мир. Ненавидел Дали, которая безмятежно спала. Будить ее он боялся, мог там же, в постели, придушить эту женщину, которая сулила ему блаженство, а сделала его посмешищем.

Он больше не мог находиться в комнате и вышел на балкон.

Во дворе он заметил старика, который сидел на скамейке, опираясь на палку и поглядывая на балкон. Отар не узнал старика.

— Поздненько просыпаешься! — насмешливо крикнул старик.

Голос показался знакомым, но лица Отар разглядеть не мог, поэтому, не торопясь, сошел вниз по лестнице.

— Да отец я твой, отец, -- крикнул старик. — Не узнаешь или узнавать не хочешь?

Отар стоял, как вкопанный, и смотрел, как на привидение, на старика, который, встав со скамейки, шел к нему, распахнув объятия, чтобы обнять сына. Однако по выражению лица Отара старик понял, что сын ни приветствовать его не собирается, ни сжимать в объятиях, поэтому он остановился и опустил руки.

— Сукин сын! — вырвалось у старика, но он сразу взял себя в руки. — Ты по-прежнему ненавидишь меня? — спросил он после паузы.

Отар ничего не ответил. Казалось, все чувства и ощущения бесследно исчезли, одно он понимал — отца ненавидел, как и раньше.

— Вот, отыскал тебя, — старик снова заговорил, голос его стал мягче, и вид был не таким вызывающим. — Ты от меня скрывался, сбежал, а я все равно нашел... Ну, что ты мне скажешь?

— Ночью у меня умер сын... — пробормотал Отар.

— Дети сами выбирают себе родителей, — спокойно проговорил старик. — Раз умер, значит вы ему, как родители, не понравились, — закончил он с улыбкой. — Найдет себе других, получше...

Отар с трудом заставил себя посмотреть на Луку. — Тебе, если я не ошибаюсь, должно быть пятьдесят... Раз ты жив, надо думать, не станешь от отца отрекаться... Ты мой сын и обязан ухаживать за мной, пока я жив... Ты должен закрыть мне глаза, предать земле... Для этого я нашел тебя столько времени спустя, — он говорил уверенно и поскольку не мог определить по молчанию сына его настроение, окончив говорить, взялся за свою палку и пригрозил: — А ну, посмей только отказаться от меня!

Отар прекрасно расслышал и понял, о чем говорил старик, но ощущал лишь одно, что долго слушать его болтовню и вообще находиться рядом с ним он не в состоянии, и чтобы не случилось беды, не говоря ни слова, он пошел со двора.

Отар шел по дороге, с трудом влача по камням внезапно отяжелевшее тело, и никак не мог понять, зачем отыскал его отец, что он от него хотел, какая сила привела его сюда? И почему он появился именно сегодня?

Отар вспомнил свой детский страх перед отцом, даже сейчас его тело ощутило этот давнишний страх. Он прибавил шагу, не оглядываясь на отца, которого этим утром ветер судьбы занес к нему во двор и который требовал того, чего Отар избегал всю жизнь, и все равно не сумел избежать.

...Отар шел, тяжело передвигая ноги, он хотел убежать от собственной памяти, от Левана и Дали, от Тамро и Аيي, от своего прошлого и настоящего, чтобы где-нибудь встретить будущее, которое поджидало его, хотя Отар ничего еще о нем не знал.

Перевод Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ



Мераб МАМАРДАШВИЛИ

МЕТАФИЗИКА

АНТОНЕНА АРТО

Моя тема — очень трудная, потому что приходится говорить об очень сложных вещах и в то же время — очень простых. И надо выбирать простой язык, когда речь идет о вещах сложных, окутанных уже в бесчисленные и утонченные культурные ассоциации, образы. Есть определенная традиция, в весьма драматических красках изображающая так называемое современное искусство, к которому, безусловно, относится Арто. И я сегодня буду говорить о театре Арто и метафизике Арто.

Я не специалист в театре. А что касается метафизики, то никто не может сказать о себе, что он специалист в метафизике, даже если всю жизнь ею занимался. Может быть, понятней будет, если поясню, где и почему я встретился с Антоненом Арто как философ. Встретился я с ним в той вещи, которая сегодня всеми испытывается очень остро, а именно, — в положении мыслителя в современной культуре.

Под мыслью я понимаю любую форму или любое состоя-

В круговерти исторического процесса особо заметны отмеченные знаком Божьим личности, которые, выпадая, по словам Юрия Тынянова, из плавного течения жизни, превращаются в интеллектуальный символ и ориентир эпохи. Внутренним взором и всем своим естеством такие личности смотрят в будущее, а их деятельность становится ментальной основой социального прогресса. Их обычно горький и часто трагический опыт тонким, но четким пунктиром прослеживается из глубин веков, высвечивая одинокие оазисы на фоне тихого бытового омута. Многие из этих людей, окончив свой жизненный путь в огне костра или под но-

ние понимания человеком чего бы то ни было и исполнение им самого себя или реализацию человеком самого себя в том, что он понял. То есть под мыслью я имею в виду такое состояние, в котором мы, во-первых, чувствуем и знаем себя живыми, во-вторых, чувствуем, что мы осуществились во всей полноте наших сил и потенций. Вот это я буду называть мыслью. Следовательно, я не отличаю мысль от образа, от чувственности или чувства и так далее.

Фактически тем самым я говорю странную очень вещь: мысль — это что-то, что невозможно. Поясню это так. Был такой философ и религиозный мыслитель во Франции — Симона Вайль, которая пережила драму, сходную с драмой Арто. И стержнем переживания этой драмы было то, что она назвала невозможностью жизни. По-философски это можно выразить так: жизнь как таковая есть что-то невозможное. Или это есть некоторая возможная невозможность. Как таковая, в чистом виде, жизнь, предполагающая, что в ту секунду, в которую ты живешь, ты живешь всеми частями своего существа; что все вокруг тебя, все вещи и события, где есть, закрепились какие-то крошечки, частички твоей души, с которыми ты хочешь соединиться, все это должно сойтись, быть, как говорил Монтень, а *propos*, то есть быть кстати. Мы ведь знаем, что, например, можно быть умным некстати, можно любить то, что достойно любви, и то, что тебя должны были бы любить, но некстати. В неподходящий момент. Встал с утра с левой ноги. Две родные части, по какой-то траектории устремленные друг к другу, прошли мимо друг друга и не узнали, а должны были бы узнать. Иными словами, каждый раз какое-то должное соединение, такое, чтобы через эти точки, которые встретились, прошел бы ток жизни. Чтобы в одной точке чувствовать себя живым, и в следующей точке тоже чувствовать себя

жом гильотины, определили на столетия вперед развитие философской и социальной мысли. Такие личности являются, очевидно, последователями сократической традиции, отличной от традиции платонианской, связанной, как мне представляется, с воплощением в жизнь уже существующих идей.

Одиноко, в равнодушной толпе Внуковского аэропорта, и тихо ушедший от нас 25 ноября 1990 года Мераб Константинович Мамардашвили был философом сократического направления в полном смысле этого слова. Его философская мудрость и глубина мысли воплощались не только, и не столько, на бумаге, а, что са-

живым. Но для этого должен пройти ток, должно все сойтись. Греки не случайно в каждую свою трагедию вводили какой-то кульминационный пункт, который можно обозначить так: в нем в конце концов все сходится. Но все сходится тогда, когда герой умирает. Он своей смертью сводит все смыслы, которые должны были бы сойтись. Смысл осуществляется, должный смысл всего, что есть вокруг, а герой умирает. Но мертвый уже не может обладать тем смыслом, который свершился. То есть полностью есть и реализовался в знании, но в то же время тебя нет, потому что ты умер. Смерть дает конечную очевидность, такую, которой в то же время мы не можем владеть и тем более поделиться с другими. Ибо нет никакой обратной связи. Мы не можем войти обратно в жизнь, будучи полностью, казалось бы, живыми. Вот это С. Вайль и ощутила как то, что она назвала невозможностью жизни. В действительности жизнь есть невозможная вещь, если под жизнью понимать то, что я сейчас говорил. Она возможная невозможность.

И вот нечто, что таким вот образом, как я описывал, прилагая это к жизни, так же трудно и по отношению к мысли. Мысль тоже есть что-то, что является возможной невозможностью или невозможной возможностью (можно менять). Что тогда, когда у нас есть случай — греки называли это кайросом — он каким-то очень легким прикосновением проходит мимо нас, и мы, именно тогда, когда он нас зовет и мимо нас проходит, перед лицом этого случая не в полноте своих жизненных сил. В принципе мы что-то умеем, но вот тогда, когда это нужно, мы без нашего умения. Это, я бы сказал так, про-

мое поразительное, рождались непосредственно в процессе интеллектуального общения с аудиторией, в ходе его знаменитых циклов лекций. Записанные многочисленными его почитателями на магнитофонные ленты и кассеты, при подготовке к публикации эти лекции теряют неповторимый аромат воплощенного творчества, живую и пульсирующую нить единения со слушателями и сказочное явление рождения мысли. Но и в этом обструганном и обедненном своем «черно-белом» варианте они, тем не менее, имеют непреходящую ценность не только как документ эпохи, но и как путеводная нить в XXI-й век.

Задача всех друзей и почитателей неповторимого таланта этого одного из ярчайших мыслителей современности — по крупицам собрать разрозненные, разбросанные щедрой рукой зер-

блема размещения человеческой души в некотором пространстве и времени. Она очень похожа на обыденные случаи, которые с нами бывают. Например, у меня достаточно сил и мускулов, чтобы, протянув руку, вытащить друга из ямы. Кроме еще моей любви к нему и желания его спасти. Но почему-то, каким-то стечением обстоятельств я оказываюсь в такой точке, из которой не могу протянуть руку. Я не на один метр от моего друга, а на пять метров от него. И могу спасти его. И не могу. Эта ситуация подобна, скажем, описанной Прустом, как неудачное свидание с самим собой с самыми любовными чувствами (он часто эту ситуацию описывал, и в литературе это описано). Именно тогда, например, когда ты полон любви к другому человеку, ну хотя бы к своим родителям, и в этот момент полностью этой любовью владеешь и ее чувствуешь, хочешь ее передать, а отец или мать в это время в другом месте, и от усталости или от других забот твоя бескорыстная любовь разбивается о стенку и не доходит до них.

Мопассан описывал самый точный или надежный случай, как можно любую любовь разрушить. Это когда у мужа на руках поленья дров, он сгибается под их тяжестью перед каминном, чтобы зажечь его. И в это время жена бросается к нему, вешается на шею с объятиями и объяснениями в любви. Ну конечно, в ответ на такую любовь может возникнуть только раздражение и ненависть.

Вот эти-то ситуации прохождения и непрохождения и человеческая способность или неспособность быть *à propos*, быть кстати, и есть трудность жизни в том случае, о котором я го-

на философской мысли, чтобы они проросли если не в нашей душе, то в душе нашего потомства.

Сегодня мы предлагаем публикацию относительно скромного доклада Мераба Мамардашвили, прочитанного по моей просьбе в Тбилисском университете 20 апреля 1988 года и посвященного философской концепции Антонена Арто, которого знает, да и то, наверно, понаслышке, лишь узкий круг специалистов театрального искусства. Этот крупнейший деятель французской сцены 30-х годов не переводился, мало того, его имя долгое время обходили молчанием, страшась, видимо, непривычной и даже запретной для наших советских умов тематики его статей: «Театр и алхимия», «Театр и чума», «Спектакль и метафизика», «Театр жестокости» и других.

Превратному толкованию театральной эстетики Антонена Ар-

ворил, а у Арто она испытывалась как трудность мысли. Более того, это всеобщее свойство мысли (я ведь даже пример из греческой трагедии приводил). Но бывают такие социальные, культурные ситуации, когда для некоторых чувствительных душ аналогичная трудность удесятворяется и обостряется. Такие души можно было бы назвать мучениками мысли или мучениками духа. В конце XIX и в XX веке было несколько таких. В каком-то смысле Арто можно поставить в один ряд с Ницше — это в европейской культуре. А в русской культуре, более близкой нам, Достоевский, очевидно, был таким мучеником исполнения мысли.

Оказалось (и всю проблему к этому можно свести): то, что мы мыслим, не само собой разумеется. Нам всегда кажется, что раз у нас есть такая психическая функция, то ее реализация состоит просто в упражнении ею. У одних она развита, у других нет. Одни умные, другие глупые. И достаточно просто иметь терпение и время, сесть, ну, хотя бы, за стол, или задуматься, и начинается процесс мысли. Между тем для того, чтобы была мысль, существуют какие-то скрытые предпосылки, скрытые условия, которые должны быть выполнены. Они — не само собой разумеющееся. Так же, как не само собой разумеется, что $2 \times 2 = 4$. $2 \times 2 = 4$ — это аналитическая истина. Но есть $2 \times 2 = 4$ как содержание, получаемое по связи терминов. А есть $2 \times 2 = 4$ как акт мысли, который, оказывается, очень трудно совершить. Я имею в виду — думать так, чтобы мыслилось все время $2 \times 2 = 4$. Человек почти не способен на такую операцию, на такое мышление.

то способствовала и его сумбурная жизнь, и психическая неполноценность (Арто почти 10 лет провел в психиатрической клинике), и, конечно же, определенное равнодушие некоторых его современников. Известно, что, готовя к изданию свой сегодня столь знаменитый манифест «Театр жестокости», Арто обратился к Андре Жиду, Полю Валери, Гастону Галлимару и другим деятелям культуры с просьбой подписаться под манифестом и помочь ему в организации нового театра. Многие из них, в том числе Андре Жид и Поль Валери, довольно резко ему отказали, что в значительной степени подорвало и так сомнительный авторитет этого мученика театра. Сегодня можно смело утверждать, что ни один известный театральный режиссер (например, Жан-Луи Барро, Ариан Мнушкин, Питер Брук, Джорджо Стрелер и др.) не обходится без досконального изучения наследия Антонена Арто по той хотя

У Арто за этим стояло чудовищное физическое испытание, и поэтому, собственно, он, наверное, обращался к театру. Сначала поясню две вещи. Я сказал — чудовищное физическое испытание. И сказал — театр. Физическое испытание. Например, я сейчас перед вами. И рассказываю о том, что мне близко, что мною переживалось, и что я пытаюсь вам передать, не употребляя никаких специальных философских терминов — не пользуясь философским аппаратом. Потому что то, о чем я говорю, можно описать в терминах тождества бытия и мышления, в терминах субстанции, в терминах субъекта, ввести декартовский принцип когито эрго сум, ввести онтологическое доказательство существования Божьего как гарантию нашего мышления, то есть гарантию того, что мы можем осуществить тот трудный акт мысли, о котором я говорил, и так далее. Но я ничего этого не делаю. А пытаюсь просто взять тот непосредственный, изначальный смысл, из которого философские понятия исходят, но в которых этот смысл очень часто теряется для непосвященного человека, не имеющего тренировки в оперировании этим аппаратом. Значит, я беру прстейший опыт, то, что мне близко, и не покрываю его никакими специальными понятиями.

Но перед вами случай в моем лице очень отличный от случая Арто. Я переживаю это, но переживаю все-таки в актах мысли, а Арто переживал это на актах своего телесного существования. То, что для меня — предмет размышления, пускай даже самого интенсивного и наполненного жизненным чувственным опытом, для Арто было событием его собственного

бы простой причине, что ни один из деятелей и теоретиков театра XX века не оставлял столь цельной и оригинальной концепции современного сценического искусства. «Мы все выросли из Арто», скажет Ариан Мнушкин, «он научил нас поэзии жеста и движения».

В небольшой, всего в 200 страниц, книге под общим названием «Театр и его двойник» собраны написанные в разное время статьи, где изложено все то, что, по мнению Арто, есть театр и его природа. Арто совершенно однозначно говорит о необходимости создания театра, где мучение мыслью было бы отождествлено с мучением физическим. Арто пытался «сделать театр», в котором слитые воедино чувства и жест (т. е. психика и физика) сотворили бы со всей жестокостью саму жизнь, а не театр жизни. В противовес театру диалога, вызывающему лишь мимолет-

тела. И он воспринимал возможную и невозможную мысль (я ведь назвал мысль — возможной невозможностью: могло бы быть, или должно было бы быть, но нет, невозможно разве что каким-то чудом), как какое-то существование или несуществование каких-то коагуляций в своей собственной психике, в своем собственном, физически натуральном состоянии. И это просто раздирало его тело, психическое тело и физическое тело. И в этом смысле он как бы мученик мысли. И то, что я могу испытывать на поставленных мною мысленных экспериментах, которые в общем-то никакими болезнями в моем теле не откладываются, Арто проделывал всем телом, мыслью и чувством. Так он был устроен. Это как тело без кожи, полностью обнаженное для ударов окружающего мира, для любых впечатлений. Представьте себе, все время жить с содранной кожей. Вот так жил Арто.

Кстати, так же жил и Ницше. В одном из писем своему корреспонденту он написал очень интересную фразу и сделал интересную подпись. Они позволяют мне перейти к другой стороне дела — к вопросу о театре. Почему именно театр. Он пишет человеку, который, очевидно, обратился к нему с письмом. Или состоялся какой-то разговор перед этим, в котором было сказано Ницше этим корреспондентом, что тот его наконец-то понял и тем самым приобрел. На что Ницше ему ответил «Вы наконец-то нашли меня, теперь вся проблема состоит в том, чтобы меня потерять». Попытаюсь пояснить, что это значит. Пока вы меня нашли, обрели, а еще нужно меня потерять. И подписался — Das bekreutzte, что означает распятый.

ное возбуждение, Арто предлагал создать театр, позинующийся законам чувств, законам магии и колдовских чар. Излагая свое понимание настоящего театра, Антонен Арто оказался единственным теоретиком, который сумел предложить, какие выразительные средства и как должен применять каждый, кто поверил в такой театр и задался целью служить ему. «Сцена — это конкретно физическое место, которое требует, чтоб его заполнили, требует, чтоб ему позволили говорить своим конкретным языком... Этот конкретный язык, взывающий к чувствам и независимый от слова, должен удовлетворять чувства. Поэзия чувств существует, как и поэзия речи, и это физический и конкретный язык...». Исходя из этого, Арто разбирал те средства выражения, которые могли бы лечь в основу языка чувств на сцене: танец, пластику, интонацию, мимику, архитектуру, декорацию и многое другое. Он

То есть появляется образ крестовой муки, распятия на мысли или на том, что могло бы быть мыслью. Распятие на том, что могло бы быть, если бы было á rgoros, то есть, кстати(но кста-ти — это плохой перевод, лучше брать á rgoros), однако не было á rgoros. Нету, не сошлось, Закружился мир так, что все точки, которые должны были бы сойтись, — оказались на недостижимых в данный момент расстояниях и временных отделениях, недостижимых для тех сил, которыми мы располагаем. Или вещи разбросаны, неполны. К примеру, нам нужны пять частей вещи для того, чтобы соединилось что-то, а их только четыре налицо. Но даже если все пять, — мы должны быть при полноте наших сил в данный момент, в момент кайроса. А мы забыли, что знали, или что могли. Вот в этот момент, когда нужно — не помним, не знаем.

Это, так сказать, крестовая мука. И здесь один очень интересный момент. Ницше говорил своему корреспонденту (меня заносит, видите, как далеко. У меня тоже, может быть, этот процесс мысли переходит в физически неконтролируемое событие моего собственного тела, как это происходило и у Арто): ты нашел меня, но теперь задача меня потерять. Следовательно, то, о чем мы говорим, та мысль или состояние понимания, мало того, что это возможная невозможность, это еще — (даже если в конце концов все сошлось, а в конце концов все сходится) и фигура греческого трагического героя, то есть символ того, что в конце все сходится, но даже сошедшееся нельзя иметь. В том смысле, что это нельзя, раз получив, положить в карман и тем самым иметь, и потом, когда тебе надо,

пытался даже показать технику создания жеста, движения и дикции. Арто создал арсенал аналитической практики актера и советовал «вливать в спектакль» сам процесс мышления, освобожденный от лишних слов, но отождествленный со средствами выражения. Арто, тем самым, практически советовал вынести на сцену сам процесс творчества.

Антонена Арто нам еще предстоит узнать, и предлагаемая ниже публикация первый, но мощный шаг к творчеству этого фанатика сцены и жизни.

Мераб Мамардашвили никогда специально творчеством Арто не занимался. Однако, учитывая, что он был признанным исследователем философии творчества (доказательство тому — неизданный цикл о Прусте) и любое произведение искусства рассматривал как философскую концепцию, то интерес к Арто ста-

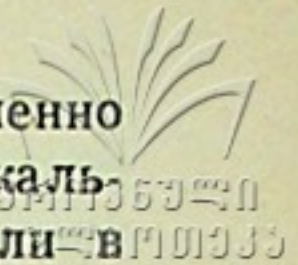
по надобности к этому снова обращаться. Положим, я что-то знаю — и, значит, имею. Завтра мне понадобилось, я оплелся или залез рукой в карман и вынул — вот, я знаю. Как стало очевидным, те состояния, которые мы называем мыслью, они даже если есть — не поддаются владению или удержанию. То есть они обладают следующим признаком: в них нужно каждый раз снова впадать. Слово «впадать» здесь применено в смысле «впадать в ересь»; Пастернак в стихотворном обороте говорил: «впадать, как в ересь, в неслыханную простоту». Как видите, снова впадать.

Ну, и театр. Давайте совершим простой очень акт рефлексии. Как простой мыслительный акт, а Арто на своем собственном теле его совершал. Что происходит в театре? Что такое театр? Я не вторгаюсь в вашу область, если тут есть театроведы, и не собираюсь дать дефиницию. Просто попытаюсь выразить какой-то опыт общения с театром, мой личный, но тот, который не только у меня. Существует пьеса, в ней написаны все слова, произносимые на сцене. Но, может быть, режиссер добавил еще какие-то слова, или, наоборот, сократил. Пьесы Шекспира не ставятся, как правило, в полном объеме шекспировского текста. Но все равно: то, что ставится — это написано, и мы знаем это. Зачем нужно еще показывать? Зачем слово, которое мы можем прочесть, нужно еще и произносить? С ужимками актера к тому же. Зачем все это? Странность того, что вообще спектакли ставятся, можно понять только так — мы играем в театр: театр есть машина, физическая машина, посредством которой мы снова впадаем в то, что знаем, но чего знать нельзя в смысле владения. Ибо театр восстанавливает смысл или понимание, потенциально содержащиеся в словах и жестах, в пространственных расположениях фи-

новится понятным. И, тем не менее, лекция об Арто — это мимолетное к нему прикосновение и, конечно же, осознанная философом необходимость выразить все, что до него никто не говорил.

Мы попытались ничего в тексте не менять. Нам хотелось донести до читателя легкость речи и парадоксальность свободного течения его мысли. Ведь Мераба невозможно было просто слушать, за ним надо было следовать, ибо он как бы приглашал, скорее принуждал принять участие в самом процессе мышления.

Антонена Арто нам еще предстоит узнать. Равно как и самого Мераба Константиновича Мамардашвили — философа, ко-



гур на сцене, которые могут быть заданы заранее, но именно сейчас, в данный момент, физически производимый уникальный эффект способен сделать так, чтобы мы снова впали в то, что как будто бы знали раньше. Потому что то, что знали — этого знать нельзя. В смысле знать и положить в карман, владеть. Или — обладать этим как константой своей мыслительной способности или способности восприятия, к которой надежным образом могли бы в любое время произвольно обращаться. Таким образом, речь идет о чем-то, что мы не можем произвольным усилием или произвольной экзерсисцией делать. Захотел, произвольно сконцентрировал волю и внимание — и сделал. Нет, нужна еще целая специальная организация пространства и культурного времени, звуков, света, чтобы случилось... что? То, что, казалось бы, должен был просто знать, читая текст пьесы. Случилось на данный момент и в данный же момент умерло. Известно, что театральные спектакли живут очень ограниченной жизнью. Живут и умирают. Что же умирает? Та комбинация многочисленных вещей, которая способна своим мгновенным здесь-и-теперь-действием, то есть здешним, присутствующим действием совершить это падение моей души в понимание. Следовательно, понимание не содержится аналитически в значении слов или мыслей, одетых в словесную оболочку.

Оказывается, читая и слыша слова, мы не имеем мыслей. Вот в чем драма. Сами по себе значения всех наших письменных и звуковых записей не содержат состояний понимания и мысли. Поэтому, собственно, становятся необходимыми изображения изображений. Вы берете какой-либо текст, какую-нибудь фразу того же самого Арто, или вы слышите реплику, произнесенную со сцены. И прекрасно знаете, что возможны

торый останется в пока еще не изданных «Кантианских вариациях», «Картезианских размышлениях» и «Вильнюсских лекциях»; публициста, который еще прозвучит в статьях и интервью и когда-нибудь дойдет... должен дойти!... до наших умов и сердец, так как немыслимо не услышать человека, который истину ставил выше всего и «был свободным, чтобы бороться за свободу». Мераб как чуткий, внимательный и мудрый друг останется в памяти близких, которые, познав искушение его Разумом, поведут с ним долгий и напряженный внутренний диалог, которому не суждено прерваться, ибо духовное общение беспредельно.

Ирина ГОГОБЕРИДЗЕ

две вещи. Вы можете повторить эту фразу. Скажем, герой/ сказал то-то. Вы повторяете и тем самым, казалось бы, гово- рите то же самое, что сказал он, и как будто понимаете. В действительности же это — чистая механика, автоматика. Потому что, если вы поняли в действительности, то не можете в принципе повторить то, что было сказано. То, что вы скажете про себя как воспринятое извне, будет всегда ново, всегда другое. Значит, нельзя помыслить то, что есть, не помыслив это иначе. Это абсолютный закон нашей духовной жизни. Ведь этим человек отличается от попугая. Пожалуйста, попугай может повторить фразу. Казалось бы, он сказал то же самое, что было сказано. Он повторил, но это попугай, это механика.

Вот что было проблемой Арто. И я сказал, что он ее прежде всего в театре пытался разрешить. Почему в театре? Я скажу парадоксальную очень вещь и тем самым закончу мою попытку псевдоопределения театра. Итак, установили следующее: мы что-то понимаем, видим не путем переноса в нашу голову содержания и значений письменного текста или устной речи, а лишь при условии, что в нас произошел какой-то новый сознательный опыт, опыт сознания как такового, в котором родилось что-то, что есть то, что было, что уже сказано. Но это должно родиться, чтобы быть понятым. Если сможем в голове уместить этот парадокс. А сейчас я опять перед вами в качестве иллюстрации своих собственных мыслей — то, что я сейчас говорю, я не знаю, но снова пытаюсь знать то, что знал. То есть в то, что я знаю, я снова пытаюсь впасть перед вами, чтобы было понятно, о чем идет речь. Чтобы понятна была эта парадоксальная вещь — что лишь родившись, нечто может быть тем, что уже есть. Родившись в том, что можно назвать — некоторый сознательный опыт. В нем имеют место какие-то вещи, которые можно назвать эмердженциями. Вспыхивают акты рождения, понимания как рождения. Ну а в родившемся, казалось бы, ничего нового нету. Есть то, что Шекспир говорил и думал и что режиссер ставил, что я в книжке читал. Но если случится акт понимания или мысли, случается это парадоксальное рождение того, что уже есть. И этот сознательный опыт и называется игрой. В случае Арто — это театральная игра. То есть театр есть физическая организация. Поэтому Арто был противником театра диалога, психологического театра, так как прекрасно понимал: не происходит перехода из уст актера на сцене, из содержания слов, которые он говорит, этих состояний в голову, в слух



сидящего в зале зрителя. Что совсем не об этом идет речь. И поэтому дальнейшие психологические изыскания, чисто литературные диалогические ухищрения самого текста пьесы — не путь театра. Это ничего не дает. Посему-то иногда в текстах о театре Арто вдруг, неожиданным образом дает ему чисто пространственные определения. Словно вся проблема в том, как актеры стоят и двигаются относительно друг друга на сцене, что мы сразу, конечно, не понимаем. Но здесь имеются в виду те вещи, о которых я говорил, а не простые, обыденные значения.

Так вот, эта игра — грозная. Арто на себе это знал. И мы тоже можем знать. Создание ситуации, в которой может что-то рождаться (а то, что есть, может быть только снова рождаясь) — похоже на то, что происходит в грозовой атмосфере — в каком-то меднуме, в какой-то среде, насыщенной силами, которые в общем не совместимы с физическими способностями человеческого существа, опасны для него, могут его разрывать, раздирать его тело, наносить ему кровоточащие раны. Мысль есть нечто, рождаемое в грозе. Мысль — событие, а не дедуцируемое и логически получаемое содержание. Здесь я совершенно не имею в виду никакую проблему соотношения рационального и иррационального. Все эти различия для нас не имеют никакого смысла. Просто беру и рассматриваю мысль (как это делал Арто и Ницше на себе ощущал), как органическое образование. Мысли, очевидно, есть некоторые духовные организмы, распадающиеся и вновь складывающиеся в той ситуации, которую я называл и называю грозой.

Тем самым театр — всегда театр театра. В каком смысле? Даю парадоксальное определение. Фраза классическая, в XVI—XVII веках даже ходовая: «жизнь есть театр», «жизнь есть игра». Более того, весь космос... Даже на одном из портретов Декарта имеется подтверждение тому. Есть один его известный портрет, Хальсом написанный, а другой, менее известный — тоже голландского художника, но менее известного, где у Декарта в отличие от хальсовского портрета довольно мягкое лицо, и там подпись, явно выражающая суть декартовского отношения к миру: *mundus est fabula* — мир это сказка. Правда, там не добавлено, что это сказка, рассказываемая идиотом. *Mundus est fabula*, мир — это сказка. А вот то, что говорится о мире, если, конечно, дельное что-то, это сказка сказки, в нашем случае — театр театра. Что это значит? Когда я говорил о невозможности мысли, о вот этих состояниях,

которые нельзя иметь, в которые нужно впасть, и что для этого впадения есть специальные машины или специальная техника (применительно к Арто, такая техника — это театр), то имел в виду следующее: в каждом случае речь идет о разоблачении чего-то в качестве изображения, или чего-то, как изображающего нечто, что вообще не может быть изображено. Как это сказать? Начнем сначала. Попробуем впасть в то, что нельзя иметь формулой.

Ведь не существует театра без театральности. Не существует такой игры, которая не указывала бы сама на то, что это — игра. Очень часто говорят о реализме театра, о том, что актеры что-то изображают, что элемент актерства максимально должен быть стерт. Передо мной должно быть то, что он изображает. Это не театр. Это все чушь и ерунда. Не существует театра без специальной театральности — без показа того, что то, что есть — это только актер, изображающий. Что изображающий? То, чего нельзя изображать, что не может быть изображено, что может только быть, что есть. То есть это всегда другое по отношению к изображению. И изображение должно, пытаюсь, якобы, изобразить это, в то же время указывать на самого себя как лишь изображение того, что изобразить нельзя. Поэтому у Арто всегда *e théâtre est son double*, т. е. его другое. И в этом смысле мы все актеры в самой жизни. Ведь мы все время что-то изображаем. А то, как мы есть, можно лишь показать изображением изображения, то есть театром театра. Тогда происходит катарсис. Только театром театра.

Вот то, что я говорил: мысль — это то, что невозможно, возможная невозможность, то, что нельзя удержать, нельзя иметь, в это можно снова новым сознательным опытом впасть и так бесконечно — так это же не поддается изображению. На это такая культура нужна, в которой может существовать запрет даже на попытку изображения неизобразимого. Как вы знаете, в мусульманской культуре существует запрет на изображение. И тогда парадоксальным образом я утверждаю, что европейский театр есть театр, доказывающий невозможность театра. То есть театральные изображения доказывают невозможность изображения того, о чем мы говорим. Вот это было, так я понимаю, то, что внес Арто, опыт, который он внес в театр. Я описываю фактически метафизический театр. Так ведь? Но это не интеллектуальный театр. Вот чем отличается, скажем, поэзия Арто — поэзия, а не только его театр — от так

называемого интеллектуального театра или интеллектуальной поэзии. У Арто нету интеллектуальных тем. То, что происходит или должно было бы происходить на сцене Арто, — это обычные человеческие страсти. Кровь, любовь, убийства, понимание, непонимание друг друга, движения каких-то человеческих астероидов, которые сталкиваются с большим скрежетом между собой.

Я сказал, что это как бы прямо с обратной стороны, чем запрет на изображение: допустим, изображения Бога воспрещались, вообще изображения определенного рода в еврейской культуре, в исламе запрещены. В Европе наоборот, казалось бы. Но интересно, что в смысле мыслительной техники за этим стоит одна и та же идея — есть вообще что-то неизобразимое, и мы в нашем обыденном опыте жизни — лишь марионетки чего-то другого. Чтобы показать это — можно устроить театр, театр театра, который позволяет нам впасть и впадать по мере самого акта театра, сейчас и теперь, а не навсегда, в то, что неизобразимо, чем владеть нельзя и что является чистым состоянием понимания или мысли.

Если я так мыслю, то, во-первых, мыслю о мысли — о чем-то незримом, и тогда существую. Иными словами, человеческое существование реализуется, исполняется в точках мысли. Если под мыслью понимать те состояния, о которых я говорил. Значит, с одной стороны, мы мыслим то, что есть, а не изображено, а с другой, мыслить то, что есть, а не изображено, и означает существовать, самому войти в историческое существование, пребыть, стать, а не остаться на полдороге. У Арто хронически появляется все время мысль о *mi-chemin* — на полдороге. Это одна мысль. А вторая мысль страшная (он ведь на себе все испытывал). Это мысль об *avortement*, в уродливом переводе на русский язык это «абортные рождения». Аборты бытия, аборты мысли, аборты. В данном случае естественные аборты; есть искусственные, а это — естественные. *L'existence avortée* — абортированное существование. Или *velléité*¹, как выражались. В прошлый раз в связи с Прустом я вам рассказывал об этом — *velléité*. И вот эту ситуацию физически, на себе испытываемой невозможности мысли Арто очень часто описывает как скрежет столкновения абортов. По-русски это не получается, по-грузински — тоже. Неопишное столкновение абортов. Представьте абортных уродов, кото-

¹ *velléité*, фр. — слабое поползновение, попытка.

рые сталкиваются. Одна половина мысли сталкивается с другой половиной мысли. Они вообще-то родственные, должны были бы как-то соединиться, но не á rgoros. И они, обе абортивные, сталкиваются одна с другой. Это и есть то, с чего я начал другими словами, к чему снова выхожу.

Это как бы современное сознание высшей миссии художника. Оно может быть выражено следующими словами: высшая миссия художника — а он есть лишь просто крайний, предельный случай любого человека, любой человеческой миссии, миссии любого человека как ответственного существа — это существовать. Речь идет не о длении физического существования, конечно. Существовать в смысле бытия. И это сознание очень четко распространялось в культуре XX века. Потому что это культура, которая знает о смерти, то есть о смертности цивилизации. Она знает, что это не само собой разумеется, чтобы была мысль. Это никогда не разумелось само собой. И поэтому, к примеру, такой человек как Мандельштам мог сказать такую интересную фразу, что существовать — высшее честолюбие художника. В данном случае, актом слова, актом краски, актом театрального жеста или постановки пребыть, ввести через себя в полноценное жизненное историческое существование все то, что просит родиться, что стучится в двери бытия, но может остаться на полдороге, может не пребыть и, как говорил тот же Мандельштам, «в чертог теней вернется».

А чертог теней — вещь очень страшная. В литературе это звучит красиво, а в нашей реальной жизни, где мы это еще больше испытываем, может быть просто страшно, хотя мы связи одного с другим не узнаем. Ведь мы в нашей, в данном случае русско-грузинской культуре, поскольку Грузия составляет часть Российской империи, живем жизнью теней. То есть жизнью неродившихся людей, у которых все осталось на уровне полусуществования. У нас ведь не честь, а намерение чести. У нас ведь не свобода, а намерение свободы. У нас ведь не искренность, а намерение искренности. У нас ведь не мысль, а намерение мысли. Я сейчас возвращаю вас в лоне очень существенного различия, с которого и начал, хотя в других словах. Возьмем это на примере мысли. Есть две разные вещи — намерение мысли, мысль как она же сама в виде намерения. А есть мысль — событие.

Все осуществления в отличие от полусуществования связаны с определенным искусством или с техникой. С тэхносами. В этом смысле, например, искренность — есть не состоя-

ние человеческое, психологическое, оно фальшиво, как мы уже знаем, ибо изображает что-то, а искренность есть искусство. Быть искренним можно только посредством труда и искусства. То же самое касается правды, истины. Еще поэт Вильям Блейк говорил в одном из своих мистических прозрений: «ни один человек не может прямо от сердца говорить правду». А мы ведь считаем, что прямо от сердца. И нам достаточно, если есть намерение любви — значит, мы любим. Если у нас есть позыв искренности — значит, мы искренни. Если у нас есть позыв чести — значит, у нас есть честь.

Ничего этого нет. Это все недосуществование. И Арто осознавал, как трудно от досуществования, которое набито этими позывами, перейти в существование. И нам это должно быть ясно. Ведь все мы — голоса из лимба¹ неродившихся душ. Термин лимб не переводим ни на какой язык. А книжка, которую я принес, так и называется, не случайно, кстати, у Арто, на себе физически пережившего эту проблему, которую я сейчас описываю чисто интеллектуально. Кстати, один способ описания не хуже другого. Просто Арто можно пожалеть, что он себя распял на кресте этого перехода из лимба в существование. Но как перейти? Существует еще и пуповина лимба. Эта пуповина все-таки соединяет тебя с лимбом, даже когда ты уже вышел из него. Особенно потому, что нужно все время впадать. Нельзя раз и навсегда выйти. Всегда приходится заново впадать в состояние вышедшего из лимба. Значит, пуповина есть. Вот это — лимб, народившиеся души, стучащиеся в двери бытия. Я описываю проблему Арто. Она у него как бы двойная. С одной стороны, это проблема лирики человеческой души, с другой, — исторического существования.

Возьмем лирику человеческой души. В чем здесь дело? Французы так говорят: «Personne ne veut pas rendre l'âme». Тоже непереводимо ни на грузинский, ни на русский язык. «Никто не хочет отдать свою душу». Отдать — уже плохое слово. Во французском это скорее — обнажить, показать, выставить для всеобщего владения и обозрения свою душу. Никто не хочет. Почему? Из стыдливости? Нет. Почему? По одной простой причине. Потому что моя душа это то, чего я и сам не знаю, и с чем только я один на один имею дело и могу только сам своим трудом в себе кристаллизовать, если мне

¹ Лимб, лат. — 1) кромка, край солнца и луны. 2) Limbes, фр. — преддверие рая, être dans les limbes — зарождаться.

удастся. Как же я могу тем, чего я сам не имею, поделиться с другими? Невозможно. Поэтому никто не хочет отдать свою душу. Потому что это его собственный интимный счет перед самим собой, перед тем, чего он сам не знает и что он еще должен ввести в существование. Дать форму, дать родиться. Это есть лирика, это лирическая нота нашей души.

А с другой стороны — это уникальная ответственность. Разрешающаяся тем, что получает существование, входит и полноценно стоит на ногах в мире на пыльной площади. Представьте себе босую мысль на пыльной площади. Такой была сократовская мысль. На площади, жизнеспособная, хоть и босая стояла она на ногах. Но на этом переходе возникает вопрос. Сейчас я все свяжу еще с парой писательских попыток, чтобы поставить в контекст всю проблему, и на этом кончу.

Мы ведь не только лирики в том смысле, что есть что-то, чего мы не можем отдать другим или показать другим, обнажиться перед другими просто потому, что мы сами перед этим бессильны, беспомощны и не знаем еще, должны сами узнать. И в этом, кстати, состоит и крах любой гуманистической демократической фразеологии по отношению к культуре. Она вся строится на предположении (особенно в ее социалистическом варианте), что культура есть что-то, чем можно владеть, и что, следовательно, — раз этим владеешь как предметом потребления, — можно делить и, желательно, поровну. Так ведь? А действительная культура — дух действительно аристократичный в глубоком смысле этого слова, в духовном смысле этого слова. Им нельзя владеть и нельзя его делить по одной простой причине: нельзя поровну поделить и вообще поделить то, чего нету. И что может быть только завоевано или не завоевано с большим риском и опасностью вот в этом интимном отношении, которое никто из нас на обозрение всеобщее изнутри самого себя не выставит. Никто не хочет отдать свою душу.

На этом переходе чему мы можем доверить это состояние? Письму, слову, жесту? Это проблема. Потому что можно доказать и показать, что доверить ничему нельзя. (Платон говорил: — как можно вообще говорить то, что думаешь). То, что должно быть *à rgoros*, то сложное состояние, которое я описывал, чему можно было бы доверить? Слову? Нельзя. Письму? Тем более нельзя (Платон говорил: — как можно вообще что-то писать!). Жесту? Как? Жест ведь тоже изоб-

ражение, а изображение неуместно. Но вот посмотрите — до чего мы дошли в этих состояниях. Ведь дело в том, что наша жизнь — российская жизнь и грузинская тоже — не поддается классическому театральному изображению. Потому что там еще есть ряд фантомов, через которые надо пройти, чтобы был театр театра. То есть, чтобы разрушить театральным показом возможность изображенности чего-то и показать на минуту то, что нельзя было изобразить. Ведь театр, постановка есть разрушение изображения того, что не должно было быть изображено, и шанс для неизобразимого случится на сцене. Поскольку реальность — это всегда другое по отношению к сцене. Или сцена есть какие-то фигуры другого, разыгрываемого на наших глазах. Но они должны быть построены так, чтобы другое собственнолично выступало перед нами. Вот задача театра Арто, почему он больше доверял крику и жесту, причем сильному жесту, чем словам или сообщению чего-то содержанием слов.

Вот насколько мы театральны! У нас это в квадрате. Скажем, в грузинской пьесе или в русской невозможно изобразить вора по одной простой причине: потому что в жизни самой вор играет вора. Вы прекрасно знаете тип блатного русского. Возьмите его мимику. Этого не существует в Европе. Там воры — профессионалы, они воруют, а не играют воров. А русский блатарь — посмотрите на его мимику. Как он играет вора. Это не исключает того, что он реально вор, нет. Я говорю о другом. И попробуйте теперь в пьесе изобразить вора, который играет вора. Он уже играет. Значит, ваша задача изобразительного разрушения этого — уже другая. Вы не можете воспроизводить характер. Какие характеры воровские вы можете ввести в грузинский спектакль? Не можете. Американского гангстера можно ввести, французского бандита тоже. Я несколько прекрасных фильмов с Аленом Делоном видел. Мельвил не много фильмов сделал; из них — несколько полицейских. Один из них «Самурай» — в жестком американском стиле черного детектива, где одинокий герой стоит перед лицом враждебных сил, и разыгрывается, как по нотам, почти что греческая трагедия. Он профессионал. Он не играет вора или бандита. Он бандит.

Вернусь к проблеме. Чему мы можем доверить это состояние: письму, слову, жесту? Так вот: вся эта попытка и феномен существования Арто (который, в конце концов, мог бы как Ницше, сходя с ума, подписаться: «Распятый на кресте» —

«Das bekreutzte»), так же, как и все тексты, уже в безумии им написанные — а он 10 лет пробыл в психиатрической клинике — посвящены одному. Арто имел фактически в виду, что нужна сильно сбитая, сильно структурированная, сильно сцепленная машина, чтобы вообще могло случиться состояние понимания в голове человека — в голове актера, и в голове зрителя. Это театр насилия или театр жестокости. Потому что только жестокость может до конца изгнать изображения того, чего нельзя изображать. Только жестокость. Но Арто добавлял все время — ни в коем случае не в реальности. Ни в коем случае не в реальности. Тогда теряется весь смысл. Вся кровь и насилие есть кровь и насилие в построении изображения, разрушающего изображение. А если мы этого не сделаем, не пройдем через эти катарсисы, сработанные нашим воображением в наших собственных культурах, то в реальности все случится реально, то есть все это произойдет буквально. Он предупреждал об этом в 30-х годах, еще до фашизма. И потом все это случилось: в Париж вошли немецкие войска...

Ведь немецкие мифы, в частности немецкий расовый миф, или советский социальный миф — все они разыгрались в реальности. Немцы вкатились в свой расовый миф, причем со всеми атрибутами этого театра, о чем говорилось выше, который только театр. Факельные шествия, драматические изображения сжигания книг. Каких только театральных знаков у них не было! Тайные ложи с очень возвышенной идеологией, символическое восхождение на Эльбрус, совершенно бессмысленное в военном отношении, но абсолютно значимое символически водружение свастики на Эльбрусе, как символа воссоединения немцев со своей исконной родиной. Потому что, как известно, вся белая раса произошла с Кавказа. И в американском языке, в отличие от английского, «Caucasoid» означает белый. Не кавказец — а человек белой расы называется так.

У нас же вкатились по линии социального мифа. Какая разница? Есть расовое превосходство или социальное? Все равно деление на группы — структура абсолютно та же самая. Вкатились в состоянии хронической гражданской войны. Ведь

чем характеризуется сегодняшний день? Тем, что если у одного из французских авторов было название «Троянской войны не будет», то возможна какая-то советская пьеса под названием «Гражданская война продолжается». У нас гражданская война сменила гражданское состояние людей. И со всей театральной атрибутикой, со всеми позами соответствующими и так далее, и так далее...

Таким образом, бедный Арто уже сидел в сумасшедшем доме, а на улицы Парижа вошли призраки его собственных предсказаний и предвидений. Повторяю: или вы прокрутите, проиграете, разыграете все это в своем воображении и справитесь тем самым с определенными силами, или эти силы — кровь и насилие — будут не в театре, а в реальности. Так оно и случилось.

И вот это ощущение разницы между полноценным миром существования и миром несуществования, появляющееся на пороге изображения, на пороге, который отделяет один мир от другого. Чтобы нечто, имеющее порыв к существованию, стало не абсорбом, не просто лирикой, а стало бы на ноги, вошло бы в историческое существование, — нужна техника, аппарат. Такими аппаратами являются искусство, философия, мысль и тому подобное. Есть аппараты такие. Аппараты таких событий. Но это аппараты событий, а не просто сумма знаний. Возьмем философию. Она не есть сумма знаний. Вообще мысль не может быть суммой, которую можно передать кому-нибудь другому. Это что-то, с чем можно работать, собственная сила, крепко сцепленная машина чего может породить, индуцировать в голове какой-то переход, какой-то опыт, какое-то впадение наше в мысль, в понимание, в любовь, в чувство и так далее. Ведь нельзя иметь чувство само по себе. Захотел волноваться — и заволновался. Невозможно. Иногда как пень стоишь перед тем, что, абстрактно говоря, должно было бы тебя волновать — не волнует. Почему? А другого волнует. Почему? Один и тот же предмет. Видимо, здесь вся причинная структура универсума действует иначе.

Эта нота различения и в русской литературе промелькну-

ла. Она началась у Гоголя. И уже в современности завершилась — эту ноту продолжил Набоков. Набоков очень чувствителен к этим словам неродившихся душ и к условиям, выполняющим которые, такие души могли бы рождаться, переходить из лимба в рождение. Поэтому он очень чувствителен к фантазмагориям Гоголя, у которого впервые появляется потусторонняя лирика недоделанных людей — неродившихся или уже умерших, начинающих жить после смерти. И в 20-е годы в советской литературе линию чисто литературную (то есть достойную линию, когда люди работают со словом действительно, чтобы решать какие-то задачи) продолжала, например, так называемая школа обэриутов: Введенский, Хармс, Бехтерев и другие. Заболоцкий частично, с другой стороны, — Платонов, Булгаков, Зощенко. Они через язык дали запись (некоторые из них — даже в абсурдном театре; первая попытка абсурдного театра, театра абсурда была у Хармса), например, этих вот голосов душ, оставшихся в лимбе. Что из лимба неродившихся душ нам говорят. Так, Платонов следовал одному только гению языка, сам лично ничего особенно не понимая, когда ему приходилось о себе говорить и о своем творчестве. Это был обычный советский человек с той же степенью непонимания, как и любой другой. А в языке, то есть в творчестве, следуя гению и стихии языка, он показывал, давал понять страшную картину потустороннего мира, в котором живут люди, казалось бы, но они получеловеки. Они человечны в попытке, в позыве к человечности и живут в языке. Как в «Чевенгуре», где лошадь, на которой едет герой, зовется «Пролетарская революция», а на груди и в сердце он носит портрет Розы Люксембург. Это значит — возвышенная любовь. Это вот идиоты возвышенного. Не просто идиоты — категория идиотов возвышенного.

Кстати, эта категория началась с Достоевского. К упомянутым мною героям и мученикам — Арто и Ницше — нужно добавить и его. Интересно, что он первым заметил то, что в дальнейшем должно было развиваться — появление типа неописуемого человека, которого сначала пытался писать как Дон-

Кихота. Но логика языка привела его к тому, что у него вдруг получился тот, кто поначалу носил фамилию Картузова в набросках к повести. Потом уже в романе «Бесы» этот тип получил фамилию Лебядкина. В варианте Картузова — любящая красоту полудуша в лимбе, в лимбе прекрасного, возвышенного. Он влюбился в проехавшую мимо него на лошади великолепную даму, амазонку на лошади, и потом, по любви возвышенной, но любви неродившегося человека, Лебядкин уже получил и право (актом своей любви он заимел его) на предмет любви. Я люблю — значит, мне уже полагается. Например, советский человек любит Испанию. Она ему полагается, потому что он Испанию лучше понимает, чем сами испанцы. Вы знаете этот феномен российской любви ко всему миру. Скоро во всей вселенной не уцелеет ни один предмет от этой все-разрушающей любви. Такой вот любовью любит Картузов в 80-е годы прошлого века... Эта та лирика, которую потом развили (вы помните эти абсурдные стихи о тараканах) обэриуты в русской поэзии.

Давайте на этом и кончим. Я завершил, по-моему, круг.



Давид ТЕВЗАДЗЕ

ГАЛАКТИОН И РЕВОЛЮЦИЯ?!

Сама республика явилась на корабле,
с пулями, террором.
И здесь начинается, и там начинается,
везде ожидают,
Страна оросится кровью
это — ясно*.

Г а л а к т и о н

Галактион в нашем сознании утвердился как поэт революции, точнее, как поэт, который воспевал Советскую власть. В действительности же это положение было продиктовано принципами партийной доктрины. Когда наше общество отвергло партийные догмы в гуманитарных науках, у нас появилась возможность вникнуть в суть поэзии Галактиона и с научной объективностью оценить как эстетическо-художественный мир великого поэта, так и его политическую позицию.

Мотив революции в поэзии Галактиона, действительно, один из ведущих, но тут следует различать мотив общереволюционный и революционно-конкретного содержания. Первый отвечает творческой природе автора и находит свое выражение в стремлении к свободе и вечному обновлению мира, второй же,

* Здесь и далее переводы стихов Табидзе подстрочные.

хотя и находится в непосредственной связи с первым, имеет определенное историческое содержание. Пример этого последнего — Февральская революция, которая заставила поэта сказать: «Рассвело, зажглось огненное солнце, выплыло, знамена скорей!» («Знамена скорей», 1917, март) и «Товарищи, ударил колокол обновления, престол пал и надеждой встают над хаосом Равенство, Республика, Свобода!» («Пьянила народная скорбь», 1917, март). Конкретный смысл приведенных строк и характерный для природы поэта революционно-обновляющий пафос нельзя распространять на все его творения революционного характера. Требуется большая осторожность, когда мы оцениваем отношение поэта к Октябрьской революции, особенно же к факту установления в Грузии Советской власти, акту 25 февраля 1921 года, который сегодня уже оценен как военная оккупация и аннексия суверенной республики Грузия.

Революция, последовавшая за Февральской, ошеломила поэта. Опустошила душу, исполнила сомнений: «Куда же пропал этот Церетели и Чхеидзе пропал, как таковой?» Стихотворение «Несколько дней в Петрограде» (1919 г.), включенное во II том сочинений поэта, позволяет думать, что отношение автора к Октябрьской революции не было позитивным, во всяком случае, поэтический образ «ветра, окруженного атласной армией и таящего черные мысли», требует осмысления.

Попытаемся пересмотреть отношение Галактиона к Советской Грузии на примере стихотворений, написанных в 1921 — 1925 гг.

Условимся, что Революция и Советская Грузия не имеют ничего общего. Хотя в Грузии в феврале 1921 года и установилась диктатура Октябрьской революции, но произошло это не революционным путем. Части Красной Армии попросту аннексировали суверенную Грузию; в республике, несмотря на тяжелые социально - политические условия ставшей на путь возрождения, прекратилась свободная культурно-творческая жизнь, национальный творческий потенциал остался нереализованным.

Политические репрессии, обрушившиеся на Россию, были вдвойне тяжелы для Грузии, где пролетарская диктатура, не ограничиваясь социально-классовой борьбой, активно подавляла национальное самосознание.

Грузинский народ, его интеллигенция, писатели вынуждены были хотя бы внешне подчиниться пролетарской диктатуре и удовлетвориться своими ограниченными правами. Галактион в этом смысле не составляет исключения.

Его литературные статьи этого периода имеют подтекст и чаще выражают эстетические принципы, нежели политическую позицию. Он нигде не упоминает «пролетарскую диктатуру», «социализм», «коммунизм» и т. д. Разговор идет об общих закономерностях развития искусства, задачах писателей в новых исторических условиях. Автор «Предисловия» требует от грузинских художников, артистов, писателей служения «новой Грузии», но скорее это должно было означать верность Грузии в новых условиях. Распространенное до сих пор положение о «принятии» поэтом «новой Грузии» не доказывает и его активная общественная деятельность в этот период¹. «Академическая ассоциация», активным членом которой является Галактион, к примеру, открыто выражала недовольство и протест против советской действительности. Наша научная литература, кстати, редко указывает на этот факт. Проходит она и мимо того, что Галактион входил в объединение «Арифioni» и называл себя «арифионцем». Более того, третья конференция грузинских писателей (октябрь 1921 г.) выбрала Галактиона в состав Совета и президиума, куда вошли Котэ Макашвили (председатель), Иосиф Пришашвили, Константинэ Гамсахурдиа и Лео Киачели. Протоколы президиума подтверждают, что он систематически присутствовал на заседаниях и энергично руководил порученными мероприятиями, был инициативен, много печатался в органах «Академической ассоциации» и т. д.

По своим политическим и эстетическим воззрениям Галактион — истинный академист². «Академическая ассоциация» и ее лидер Константинэ Гамсахурдиа, сознательно противопоставив себя советизированной Грузии, тем не менее считали, что в создавшихся условиях нужно сотрудничать с коммунистами. «Единственный путь для интеллигенции, — писал К. Гамсахурдиа, — путь сотрудничества». Поэтому в литературных статьях Галактиона, написанных в начале двадцатых

¹ По предложению Галактиона был основан журнал «Ломиси», он же основал «Журнал Галактиона Табидзе», наряду с этим он принимает активное участие в работе правления «Академической ассоциации» и пр.

² В 1924 году Галактион вышел из «Академической ассоциации», но не по причине неприятия политико-эстетических принципов объединения, а из-за разногласий с П. Ингороква при выборе названия для журнала ассоциации.

годов, хотя и ощущается дань новому времени («Обновление или смерть», — обращается он к художникам, артистам, писателям); тем не менее поэт видит «неудовлетворенные», хотя и «покорные» глаза, «утраченные цели» и «противоречащие друг другу мысли». «Вы прошли ураганную ночь, вы жаждали борьбы. Когда свет прожекторов разрывал облако, хмурые ночные тени ложились на дворцы и вдалеке слышался грохот пушек. Тяжелораненый солдат, плавающий в крови, поднял ружье с белой тряпкой на дуле».

В этом образе — «тяжелораненый солдат, плавающий в крови», который вынужден был «поднять ружье с белой тряпкой на дуле», — надо признать несломленного духом, хотя и покоренного силой и как будто смирившегося с судьбой грузина, вернее Грузию. Так воспринял великий поэт первые годы Советской Грузии. Заслуживает внимания, что, по словам поэта, «неудовлетворенными», но «покорными глазами» смотрят и деятели национального искусства, «утратившие цели», одолеваемые «противоречивыми мыслями», они говорят, что сегодня в Грузии «нет места несчастным менестрелям». Поэтому Галактион не случайно назвал 1921 год неправдоподобно фантастической лестницей «со множеством роковых и опасных ступеней», тревожной, которая «демонически предшествовала многим траурным процессам». Поэт считает жизненно важным вопрос, который «разбирается в Версале»³, и призывает современников при входе в «новый храм» крепить слово делом; наши предки («истинные поэты») ставили гордость превыше смерти, славу земную почитали суетой и помнили только о славе вечной.

Второй том двенадцатитомника Галактиона, который был издан в 1966 году, включает в себя стихотворения, созданные поэтом в 1917—1927 гг., и, надо думать, в него вошли все стихотворения, выражающие позитивное отношение автора к революции.

Стихотворений, датированных 1921 годом, семь. Из них в том же году опубликовано только одно — «Непогоды», остальные шесть были опубликованы в 1925 году или позднее. Нам кажется, что эти последние должны быть более поздними. Дело в том, что для автора публикация стихов не состав-

³ Имеется в виду рассмотрение вопроса о признании республики Грузия «де-юре» и «де-факто» на Версальской конференции 1921 г.

ляла труда, но если даже допустить, что датированные 1921 годом стихотворения действительно написаны в это время, то их все-таки очень мало, что, безусловно, свидетельствует не о позитивном отношении поэта к Советской Грузии. Автор «Непогод» (1921 г.) жалуется больше на душевную усталость, мечтая успокоить тревожное сердце, чтобы обрести покой, хотя бы «где-нибудь на Камчатке». И второе стихотворение «Минул день» (1921 г.), адресатом которого признан поэт Александр Абашели, не принявший поначалу Советской власти, тоже говорит о безысходности положения поэта. «Все исчезло как ветер», — читаем мы. Что имел в виду поэт? Надо думать, суверенное грузинское государство — величайшее достижение грузинского народа, свободу и надежду.

В 1922 году, судя по II тому «Сочинений», Галактион написал около 30-ти поэтических произведений, из них в том же году опубликовал шесть. В 1923 году создано тринадцать, опубликовано шесть.

Эти стихотворения, в сущности, не революционные и не политические творения.

По наблюдению Р. Тварадзе, «1921—1927 годами датировано 305 стихотворений Галактиона. Из них более 200 неизменно следуют линии 1915—1916 годов. Более 50-ти рисуют общие картины социального хаоса и разрухи мировой войны; и более чем 30 непосредственно связаны с революционной тематикой».

В это время поэта вновь «зовет демон»; он пишет, что «сильная мгла поглощает мглу», что «Родина принадлежит черному Люциферу», «все есть сон и все поздно», что «не все можно выразить словами». Поэту отравляет дни острая тоска, и он вновь видит Амирани прикованным к скале.

В поэме «Воспоминания о тех днях, когда сверкнула молния» (1924 г.) он прямо говорит: «Кто может в такое время быть благодарен этому времени». Я и раньше указывал, что это не символистско-декадентская реминисценция, как считалось, но отклик на действительность двадцатых годов.

Наши литературоведы, как и биографы поэта, ошибались, когда пытались объяснить его настрой и мотивы творчества, исходя из его личностной природы, его «странного» характера, а не из той атмосферы, тяжесть которой поэт хорошо ощущал. Записи, дневники, неизданные поэтические строки открывали нам «неизвестную» личность, для которой жизнь была сном: «Я жил во сне, богов творил я сам»; как видно, по-

эт тяжело переживал нелегкую судьбу родного народа: «Что может быть более обидным, Метехи и Дигомское поле, и думать: это не Грузия; есть народ, железные дороги, есть авто-мото-вело, есть семьи, но это не Грузия». В одном из дневников — такая запись: «В Тбилиси немного осталось семей, говорящих на чистом грузинском. Почему это так? Почему? Почему?» (см. Р. Тварадзе, «Галактион», с. 179).

В 1923 году поэт выражает беспокойство, что «Тбилиси, а следовательно, и Грузия, завалены привезенными из России книгами, в то время как на базаре нет грузинских книг, а если они и встречаются, то в очень незначительном количестве и те невзрачные». В этих строках нашла выражение национальная позиция «Академической ассоциации»; поэт еще полвека назад определил наше время как ошибочное и беспросветное. В одном из дневников встречается такая запись: «В Грузии, где для сооружения крестов не хватает деревьев, а для распятых не хватает крестов, нам остается одна трибуна. Это — кладбище».

В начале двадцатых годов молодой Демна Шенгелая отметил духовное одиночество великого поэта: «Он ходит один, совсем один». Это наблюдение подтверждает и запись самого Галактиона: «Я одинок, одинок».

В это время его оптимистические стихи с их мажорным настроением заключены в черные рамки злой действительности и окружены как бы тенями старых смертей. Вахтанг Джавахадзе в своей книге «Неизвестный» рассказал о тяжелых душевных переживаниях поэта, которые привели его к самоубийству. Личная жизнь Галактиона тесно связана с судьбой родины: «Что моя жизнь? Одно унижение...»

Тяжелая атмосфера, в которой ему приходилось жить, неоднократно наводит его на мысль о самоубийстве, но трепетное отношение к родине долго поддерживало его: «Покончил бы с собой, но не хочу, о моя родина, тяжело оскорбить тебя этим».

Мотив самоубийства, который ощутим в творчестве еще молодого поэта, нельзя объяснить его характером. Он предопределен социально-политическими условиями эпохи; если юность поэта совпала со временем обманутых надежд, которые вселяла идея национал-социального освобождения, с поражением революции 1905 года, то после 25 февраля 1921 года, когда свободная Грузия потеряла независимость и в стране начались братоубийственная война, произвол, массовый крова-

вый террор, гаснут последние искры возгоревшейся было надежды. Поэт и в эти годы мог повторить свои ранние строки: «Хоть убейся, но спасения нет, нет, нет!».

Многие стихотворения поэта того периода требуют нового прочтения: «Девятьсот семнадцатый», «Уходит целый век», «Человек, который осмелился», «Наступил август», «Борьба двух грозных стихий», «Воспоминания о глухом переулке», «Огонь».

С этой точки зрения интересно стихотворение «Надвое раскололась красная скала» (1923 г.). Кто его герой? «Красный человек», сидящий в «красном седле» и мчащийся по красной дороге, который разделит Красное море и «ткнет ему в сердце кровавый деревянный посох».

Поэта заботит, что «многих тревожит какое-то рабство»; он удивленно спрашивает: «Как жить без Богоматери? Как вынести это?!»; явный протест звучит в стихотворении «Другу» (1925 г.). Поэт признается другу, что «глубока его рана сердечная, он затаил свои намерения, но плачущим никому не покажется» (возможно, в начале 1922 или 1923 годов поэт уничтожил свои рукописи не из-за какого-то каприза, но по политическим соображениям — посчитал их опасными).

В стихотворении «Ветер, поднимающий завесу» (1924 г.), он требует «поднять только одну завесу — скрывающую солнце». Он знает, что «осознание разрушения длится мгновение». В этот миг «душа не знает ни жалости, ни любви, разум молчит... Еще не виданным, еще не сказанным, еще не слыханным голосом гудят площади»; друг друга сменяют восторг, сумасшествие, угрозы, проклятья и элизиум... Лейтмотивом в стихотворении звучит:

Умолкни, мир! Спокойно, мир!
Вперед, мир! Мир, умолкни!

Эти строки писались тогда, когда еще звучал урабольшеvistский лозунг «мировой революции» и налицо было упорное стремление к победе коммунизма в «мировом масштабе».

В известных поэмах поэта «Воспоминания о тех днях, когда сверкнула молния» и «Джон Рид» новая действительность представлена, как мир страха, жестокости и кровавого террора.

Сама республика явилась на корабле,
с пулями, террором,

И здесь начинается и там начинается
везде ожидают,
Страна оросится кровью
это — ясно.



Победители жестокой рукой
душат пленных,
рубят, расстреливают, именем народа
отнимают жизнь...
до расстрела отряд пел
Марсельезу.

Таков финал поэмы «Воспоминания о тех днях, когда сверкнула молния»⁴. После этих строк запись поэта в дневнике надо признать преждевременной: «Коммунисты не прибегают к репрессиям... приняли меня с симпатией... приветствую мое блестящее будущее! Я не сомневаюсь в нем ни на минуту».

В поэме же «Джон Рид» параллельно с кровавой драмой мы слышим своего рода предсказание:

Страна еще более оголодает,
Еще более усилится горечь,
Совесь утратит цену,
все божественное потеряется,
будет разрушено все святое
со всемирным проклятием.

Несколько слов хотелось бы сказать о стихотворении «Мы, поэты Грузии».

Думается, существующая его интерпретация не верна.

В первую очередь условимся, что стихотворение написано самое позднее в августе 1924 г. перед восстанием или в его дни. На это указывает: 1. Стихотворение напечатано в июле—августе 1924 г. в журнале «Мнатоби» (№ 7—8); 2. В разных вариантах стихотворения — разные названия: «Стихотворение о будущем Грузии» и «Надвигается самум»; 3. Стихотворение написано в форме настоящего и будущего времен («позвонит», «загудит», «завопит», «пойдет», «уйдет», «пронесется», «накроет», «станем там», «жертвуем» и т. д.).

Таким образом, датирование опубликованного стихотво-

⁴ Надо думать, что поэма написана летом 1921 г., на что указывают слова «воспоминания» и «сверкнула молния».

рения «25 декабря 1924 г.», нам кажется, не соответствует истинному положению вещей.

Однако, прежде чем мы приступим к анализу этого произведения, остановимся на стихотворении «Наступил август», написанном Галактионом годом позже.

Лирический герой его говорит, что наступил август, который «так же быстр, подобен ветру и непобедим», он доволен, что открыл не изведенную никем любовь.

Эта любовь уймет плач
И, еще худшее сумасшествие,
Желание вновь наставляет револьвер
На небо, которое пересекли облака.

Связь этих строк со стихотворением «Мы, поэты Грузии» очевидна, и это дает ключ к объяснению последнего. Лирический герой стихотворения «Мы, поэты Грузии» — дитя советской действительности. Поэтому он вроде должен быть доволен настоящим, но почему-то ждет, «что еще не раз загудит над землей песчаная буря...». Стихотворение пронизано общереволюционным пафосом, пафосом борьбы и разрушений, извечного стремления человечества к обновлению...

На этом фоне автор ставит поэтов Грузии перед конкретной, можно сказать, национальной дилеммой.

Мы — поэты Грузии,
помним и худшие дни.
Мы сейчас знаем куда станут
Клодель, Жаммэ, Суарес...

Из этих строк явствует, что поэт — в ожидании новой борьбы, он готов к ней: «В молчании нет ничего героического или похвального» — читаем в одном из вариантов стихотворения. Вопрос в том, на чью сторону он встанет. Он называет французских поэтов: Поля Клоделя (1868—1955), Франциска Жаммэ (1868—1938) и Андре Суареса (1868—1948), которые были достойными сынами своего народа. Если учесть их жизненные позиции и творчество боевого характера, у нас нет основания думать, что они встали бы рядом с антинациональным правительством, запачкавшим руки кровью (см. Т. В. Белашова «Французская поэзия», 1982 г.).

Заслуживает внимания, что один из вариантов стихотво-

рения звучит так «Мы, поэты Грузии, будем с народом, товарищи!» (вместо слов «будем с народом» было «пойдем на борьбу», см. соч. в 12 томах, т. II, с. 377).

Это наблюдение дает основание для нового осмысления поэтического образа «окровавленного ангела» и окончательного определения политической позиции поэта.

Допустим, «окровавленный ангел» это поэтический образ не Октябрьской революции, а справедливой борьбы восставших в августе 1924 года грузин. Именно этой последней подходит определение «окровавленный ангел», а не Октябрьской революции, приведшей сначала к гражданской войне, а потом к репрессиям, что в общей сложности повлекло 60 миллионов жертв (иные доводят эту цифру до 100 миллионов). Галактион, очевидец трагической судьбы грузинского, а точнее, всех народов Советского Союза, как мы указали, не мог воспринять Октябрьскую революцию как «ангела» (пусть даже «окровавленного»).

Если эта мысль верна, тогда становится понятной последняя строфа стихотворения:

Станем туда, где буря
и окровавленный ангел стоит,
мы жертвуем жизнью ради новых ураганов,
мы, поэты Грузии.

В таком прочтении «ураган» и «новая буря» осмысливаются нами как августовское восстание 1924 г., а «окровавленный ангел» как предводитель восставших.

Призыв автора исполнить долг поэта — стать там, где ураган, где борется его народ — «окровавленный ангел», чтобы принести себя в жертву новым ураганам, перекликается с лейтмотивом его политико-литературных статей («Поэзия прежде всего», «Предисловие» и др.).

Возможно, некоторые читатели выскажут сомнение по поводу этого предположения: разве Галактион в стихотворении «Мы, поэты Грузии» призывает нас не к защите Советской власти? Разве «окровавленный ангел» это не образ революции? Разве поэт прямо не говорит: станем на баррикады?

Позвольте на этот вопрос ответить вопросом: рядом с кем стал бы Галактион на баррикаду? Неужели он призывал нас к защите той власти, которая утвердилась в результате

военной оккупации и массовым террором утопила в крови борющийся за свободу его родной народ?

Не думаю! (И. Лордкипанидзе, кстати, отмечает, что после опубликования в 1924 г. поэмы «Воспоминания о тех днях, когда сверкнула молния» («Мнатоби» № 5, 1924) Галактион «на несколько дней стал жильцом Метехской крепости»⁵, а Н. Табидзе пишет: в 1924 г. (имеется в виду период августовского восстания — Д. Т.), когда Галактион оказался в тяжелых условиях, семья Чудецких приютила и укрыла его у себя. Галактион не раз вспоминал об этом: Наташа была похожа на разъяренную тигрицу (жена Федора Чудецкого — Наталья Иоселиани-Чудецкая — Д. Т.), готова была даже кровь пролить: «тебя никому не отдам»⁶.

В названном выше стихотворении «Наступил август», думается, поэт дает оценку восстанию 1924 года. Здесь не только «август» указывает на августовское восстание 1924 года, но и будущая борьба побежденных.

Лирический герой стихотворения («такой же быстрый, как ветер, и непобедимый») исполнен надежды и «желания» (надо думать, желания минувшего августа — Д. Т.), снова целится револьвером в небо, по которому пронеслись облака. Ясно, что «небо, по которому пронеслись облака» — это небо Грузии августа 1924 года.

Естественно, этот мотив не прерывался в творчестве поэта. Некоторые стихотворения, опубликованные в журнале «Мнатоби» в 1925 году (№ 10), мы уже указали («Надвое раскололась красная скала», «Наступил август», «Если нет борьбы», «Мгновение идет за мгновением» и др.). Из этого цикла («Сто стихотворений») надо отметить также «То пропасти, то вершины», «Осенние цветы», «Так легко верить», «Если тигр рассвирепеет», «В лазурном небе», «Дубы», «У меня не раз были крылья...» и др. В их аллегорических образах нашли отражение картины сложной национально-политической борьбы двадцатых годов.

В стихотворении «Если тигр рассвирепеет» «рассвирепевший тигр» — это восставшая Грузия, которая оказалась побежденной, и подобно тигру, «замерев, легла у ног». (Лично мне в образе этого тигра видится сам Галактион, который знал, что «жизнь превратилась в борьбу с судьбой», и, когда эта борь-

⁵ И. Лордкипанидзе, Галактион Табидзе, с. 189.

⁶ Н. Табидзе, Галактион, с. 179.

ба стала невозможной в реальной действительности, боролся в мечтах и побеждал в мечтах, и эта победа была наивысшим счастьем для него). В аллегорическом стихотворении «Дубы» «пережившие ураган дубы» (которые олицетворяют восставших в 1924 году или историю всей Грузии) вновь твердо стоят на земле: «со старением у них как будто прибавляется бодрости...»

Итак, отношение великого поэта к советизации Грузии было резко отрицательным (отдельные позитивные высказывания надо объяснить артистизмом поэта. Недаром говорят: Галактион носил маску. Он вынужден был делать это как советский поэт и советский гражданин. Он сбросил маску лишь в последние минуты своей жизни).

Если принять во внимание феномен Галактиона Табидзе, в этом нет ничего удивительного. Он был дальновидным политиком и тактиком. Одна из его дневниковых записей гласит: когда все косые, ты тоже должен притвориться косым. Заслуживают внимания такие его строки: «очень легко верить в несбыточную сказку». Но еще более интересна строка из другого варианта этого же стихотворения: «Сколько песен я прячу, на них полосы крови».

Да, на поэзии Галактиона «полосы крови», и это зачастую «скрыто» от посторонних глаз.

Наши наблюдения касались только одной части многообразного, богатого творчества великого поэта, но отнюдь не второстепенной. Она выражает эстетико-политическую позицию поэта, его протестантизм по отношению к «революционной Грузии».



Суровая правда

Рассказ Джемала Карчхадзе «Рахат-лухум» посвящен одному из наиболее драматичных эпизодов истории Грузии. Повествование ведется от лица очевидца. Но очевидцы, как говорится, бывают разные. В данном случае в роли рассказчика выступает неусыпный враг Грузии, и это обстоятельство привносит в повествование эффект неожиданности.

Годы и неумеренное употребление опиума иссушили старого турка, который торгует сладостями в пригороде Стамбула и этим зарабатывает себе на жизнь. А между тем этот торговец — один из тех полководцев, которые возглавляли турецкое воинство, летом 1609 года вторгшееся в Грузию. Турки жаждали захватить в плен стоящего малым лагерем у Цхирети царя Луарсаба II, а затем предать Грузию огню и мечу. Кто не знает сегодня в Грузии, что если бы не невероятное мужество священника Тэвдорэ из Квелти и его любовь к отчизне, это лето, возможно, стало бы одной из самых кровавых страниц национальной истории. Самопожертвование одного человека спасло всю страну от страшной беды, и отношение грузинского народа к нему выразилось в вердикте грузинской христианской церкви, причислившей священника Тэвдорэ к лику святых.

Но как отразился подвиг Тэвдорэ в сознании тех, для кого встреча с ним явилась гневом Божьим? Их планы и замыслы были разрушены, и большинство из них так и остались лежать на грузинской земле. Надо признать, что до сих пор в нашей литературе мало кто пытался взглянуть на Грузию чужими (к тому же враждебными) глазами. Это многое обусловило в рассказе, но что особенно следует подчеркнуть, позволило с удивительной легкостью преодолеть все те проблемы, которые неминуемо встают перед любым писателем, работающим над историческим материалом. Что имеется в виду? Несмотря на то, что о подвиге Тэвдорэ известно любому грузи-

ну, рассказ читается с таким интересом, будто мы никогда не слышали об этом.

Но тут, естественно, возникает вопрос: какую цель поставил перед собой писатель? Этот вопрос имеет смысл постольку, поскольку в рассказе нет ни попытки реставрации исторического колорита, ни какого-нибудь особенного осмысления психологического портрета священника Тэвдорэ. Писатель с самого начала отказался от этого пути. Так чем же интересен его рассказ для читателя? Неужели еще одним напоминанием о действительно бессмертном подвиге Тэвдорэ? Но ведь читатель всегда ждет от художественного произведения гораздо большего, чем простое напоминание. Задача, которую поставил перед собой Джемал Карчхадзе, очень сложная. Он стремится выразить свой взгляд на феномен грузинского национального характера. Еще более сложно художественное решение этой задачи. Поэтому воспринять позицию писателя в целостности без вдумчивого ее осмысления довольно трудно. Ну а то, что сразу бросается в глаза, — это авторское неприятие весьма распространенной тенденции идеализации национального характера. Неприятие настолько четкое, что многим может показаться излишне резким, но, как видно, в отличие от этих многих Д. Карчхадзе разделяет сформулированное Гурамом Асатиани положение: «В определенные моменты истории грузинский характер требует «горькой правды» (отрезвления, резкого окрика, беспристрастного зеркала), дабы его, стоящего на краю пропасти, не одолела дремота и он не преступил бы опасной черты».

Но когда было легко говорить правду? Поэтому творчество любого писателя, сознающего свой долг перед родиной, долг, который заключается не только в воскурировании фимиама родному народу, достойно всяческого уважения и внимания. Для решения задачи, которую поставил перед собой Джемал Карчхадзе, как нельзя более подошел легший в основу написания рассказа прием. Он же обусловил значительное перемещение акцентов нашего внимания в этом историческом эпизоде. В микромире рассказа предатель-грузин, с помощью которого туркам удалось полностью уничтожить передовой отряд царя Луарсаба, является не менее важным лицом, чем священник Тэвдорэ. Однако упоминание имени предателя рядом с именем национального героя даже символически должно указывать на одну значительную закономерность. Не хочет ли сказать писатель, что наряду с другими обстоятельствами это со-

четание антиподов, довольно частое совмещение подобных крайностей в какой-то степени определили трагическую историю Грузинского государства? Одно ясно, и из рассказа это явствует со всей очевидностью — за предателем, сеющим смерть, проливающим кровь и оставляющим разрушения, обязательно шел герой, восстанавливающий, возрождающий поруганную жизнь и справедливость. И тот факт, что нация, несмотря на потрясения и бури, продолжает жить, свидетельствует, что в ее духовной жизни герои оставляли след гораздо чаще и гораздо глубже, нежели негерои.

Когда Оман-паша и его воспитатель (тот самый нищий турок, что на склоне лет занялся торговлей сладостями в предместье Стамбула) решили идти походом против Грузии, они стали собирать всевозможные сведения о грузинах. По их мысли, если хочешь овладеть страной, а затем править ею, надо изучить обычаи и порядки ее народа, понять его сокровенные мысли, разгадать, как можно сломить его и вселить в него страх и любовь.

В поисках необходимых сведений о Грузии они посещают некоего Али-Мирзу, когда-то, давным-давно, жившего в Картли, за какое-то преступление оскопленного и изгнанного оттуда, после чего он поселился в Ахалцихе и за короткое время приобрел имя мудреца и прорицателя. Как человек, ненавидящий грузин, Али-Мирза приветствует намерение Оман-паши идти походом на Грузию. Естественно, он старается полностью удовлетворить любознательность полководца и его воспитателя, максимально способствовать успешному претворению их замысла. При этом Али-Мирза должен быть объективным, ибо каждое его неверное слово может отрицательно сказаться на судьбе похода. Под конец так и случится, одна, но весьма существенная ошибка Али-Мирзы предрешит исход сражения, но об этом ниже.

Как воспринимает Али-Мирза грузинский характер? По его словам, «все гурджи по природе своей предатели, только вот одни имеют эту возможность предать, другие — нет... Они завистливы, благополучие ближних не дает им покоя и при желании, если умело воспользоваться этой их чертой, ничего не стоит натравить их друг на друга. Гурджи надо хвалить, держать себя с ним так, словно ты не достоин быть пылью с его ног. Гурджи наивен, причем чужаку верит гораздо охотнее, нежели ближнему своему, поэтому легко доверяется и быстро проникается любовью к нему. А полюбив чужака, на-

чинает ненавидеть брата своего, поскольку сердце гурджи не в состоянии вместить столько любви. Глупость гурджи выдает его высокомерие, свои бесчисленные пороки он скрывает так, словно это клад какой-нибудь, он все тебе может простить, но если ты подметил его недостаток, тебе нет прощения, поэтому с ним надо вести себя так, словно совершеннее гурджи нет никого на свете. Этим ты выгадываешь вдвое — во-первых, он покорен тебе, во-вторых, все его пороки остаются при нем... Помните, сытый гурджи — хороший гурджи, сытый гурджи воевать не любит, сытый гурджи обожает лежать на боку и икать... Воевать они умеют, но в искусстве измены им нет равных, и еще: в чужом войске они дерутся с большим старанием, ибо любят выставлять себя напоказ».

Многие грузинские деятели, начиная с историка Давида Строителя и кончая Ильей Чавчавадзе и Акакием Церетели горько сетовали на некоторые порочные черты грузинского характера, но то, что выдает Али-Мирза, имеет мало общего с реальностью. Али-Мирза глубоко заблуждается, распространяя свои наблюдения и выводы на всю нацию, хотя он, конечно, уверен в обратном. Ничего другого, впрочем, ждать от исходящего злобой и ненавистью скопца не приходится. Но интересно, какую цель преследует автор, рисуя этот образ? По всей видимости, монолог Али-Мирзы следует рассматривать как своего рода попытку эпатировать читателя, в результате чего последний вынужден будет не просто отринуть сказанное Али-Мирзой, но попытаться осмыслить его слова, кое с чем, может быть, согласиться, а кое с чем нет. Писатель пытается заставить читателя задуматься, заглянуть в собственную душу. Вот что главное в рассказе, а не позиция Али-Мирзы, в абсурдности которой мы вскоре убедимся, хотя поначалу его предсказание сбудется с поразительной точностью.

Дело в том, что для успешного выполнения плана Оман-паши — неожиданное нападение на стоящего лагерем в Цхирети царя Луарсаба — необходимо было знать местонахождение передового отряда царя и уничтожить его так, чтобы никому не удалось бы бежать и сообщить царю о случившемся. Тогда главный козырь — неожиданность нападения — сделал бы свою игру. Эту проблему турки, следуя наставлениям Али-Мирзы, решают успешно. По его совету, Оман-паша должен был пустить слухок в Ахалцихе о предполагаемом походе. Скопец был убежден, что в три дня заявится какой-нибудь грузин и предложит туркам свои услуги. А когда с помощью

предателя будет установлено точное местонахождение отряда, останется только неожиданно напасть на него и обязательно в полночь, ибо, по словам Али-Мирзы, «гурджи беспечен и беззаботен, вечно уповает на Бога, заставляя его делать то, что должен сделать сам. Ночью они выпьют, а пьяных и спящих вы легко уничтожите».

И в самом деле все случилось так, как предполагал Али-Мирза. Через три дня действительно появился человек, с помощью которого все воины передового отряда, пьяные и спящие, были вырезаны в полночь, как беспомощные овцы. После этого, естественно, Оман-паша и его воспитатель уже не сомневались в правдивости слов Али-Мирзы. Они уверились, что каждый грузин — действительно предатель, и это послужит предпосылкой их гибели — ни у кого во всем турецком войске не возникает сомнения, что Тэвдорэ действительно ведет их в Цхирети. Это с одной стороны. С другой же мы должны дать себе отчет в том, что перечисленные Али-Мирзой черты отнюдь не чужды грузинскому характеру. И как важно для писателя заострить на этом обстоятельстве внимание, явствует из структуры рассказа. Имеется в виду, что мастерски выполненные образы предателя и священника Тэвдорэ даются в одной плоскости; противопоставив таким образом персонажи, автор сумел сказать очень многое. Вот, к примеру, портрет предателя, который заявился к Оман-паше: «На вид это был прекрасный молодец, высокий, красивый, широкоплечий, нос с горбинкой, широкий разлет бровей, густые усы — все красило его. Он вошел гордо, непринужденно, чуть покачивая плечами. С достоинством кивнул Оман-паше». А вот как выглядит священник Тэвдорэ, встретившийся на дороге туркам, оставшимся без проводника:

«В проулке показался священник верхом на осле. Он сидел, понурив голову, и, как видно, полностью был погружен в собственные мысли, поскольку, пока осел при виде нас не стал как вкопанный, он ничего вокруг себя не замечал. Ему было бы лет тридцать, круглое лицо, светлые волосы и борода, карие глаза внушали доверие. Увидев огромное войско, он побледнел, в какой-то миг решил было убежать, даже попытался повернуть осла, но, тут же поняв, что бежать некуда, передумал. Чуть дрожа всем телом, он, замерев, сидел на осле и бессмысленно глядел на нас».

Задумчивый, без всяких претензий Тэвдорэ, который поначалу даже испугался, столкнувшись с турками, и гордый, воль-

ный предатель. Разве случаен подобный контраст? Надо думать, что это именно тот случай, когда внутренняя сущность персонажа, отраженная в его внешней «форме», находится в прямой связи с его поведением. Позиция писателя, на мой взгляд, вполне ясна.

Беззаботный предатель — олицетворение почти всех тех порочных черт, которые Али-Мирза так необдуманно приписал всей нации. Мы уже видели, как непринужденно заявился он к паше, теперь посмотрим, как предлагает он свое сотрудничество.

«Он начал прямо, без обиняков: от меня ничего не ускользнет, я знаю, вы идете походом на Картли». Оман-паша и его воспитатель притворились, будто их очень удивили слова пришельца. «Гурджи с удовлетворением отметил это, даже улыбнулся, и самодовольно начал успокаивать нас, не бойтесь-де, я никому ничего не сказал и не собираюсь говорить, напротив, я пришел сюда, чтобы послужить вам... В первую очередь надо уничтожить передовой отряд так, чтобы царь ничего не узнал об этом. А место, где расположился передовой отряд, в Ахалцихе, кроме меня, никто не знает. И умолк».

Простодушие или хитрость этого человека вызывают какие-то странные, противоречивые чувства. Он так легко поддается на удочку турков, что понимаешь, его ничто не заботит, ничто ни с чем не связывает, но почему он вдруг умолкает? Молчание это неожиданно, может быть, есть надежда, что... Но, к сожалению, это молчание торгаша, выложившего свой «товар» и жадно ждущего, что дадут за него. «Оман-паша взял кису, набитую золотом, поиграл ею в руке и спросил, будет ли этого достаточно. Гурджи попытался скрыть охватившую его радость, но это ему плохо удалось. Впрочем, он держал себя молодцом...»

Одним словом, актер. Его артистизм, манеры, покачивание плечами, беспечность, плохо замаскированная радость производят на читателя ужасное впечатление. Что касается священника Тэвдорэ, то в его поведении нет ни тени манерности. Это простой, тихий, задумчивый человек, без всяких претензий. Он не произносит ни одного лишнего слова, ему чужды патетика и шумливость. Его жест также скуп, прост, совершенно не артистичен и не самодоволен. Величайший свой подвиг он совершает так просто и деловито, словно это его ежедневная, привычная обязанность. Совершенно естествен и человечен и страх Тэвдорэ. Да и подвиг фактически не что иное,

как преодоление страха. И он сумел подавить этот леденящий душу страх тогда, когда осознал, что провидение поставило его перед дилеммой: либо он должен спасти себя, но погубить душу, либо же...

И Тэвдорэ выбирает второе. О чем он молил Бога, там же на глазах у турок преклонивший колена, никому не известно, но, когда он поднялся, готовый на овершение великого дела, его сверкающие глаза и просветленное лицо, от которого точно исходили лучи, ужаснули воспитателя-турка. Сколько лет прошло, а лицо этого человека, встреча с которым оказалась для них роковой, все еще стоит у него перед глазами.

В крайне напряженные минуты, когда для человека естественна и простительна минутная слабость, Тэвдорэ проявляет удивительную душевную твердость и естественность. До наступления ночи водил он турок по лесу, не произнеся ни единого слова. О чем он думал все это время? Сбить турок с дороги для Тэвдорэ значит выполнить волю Всевышнего, и он выполнил ее просто, с достоинством. И муку принял так же — просто, с достоинством. Вспомним, как на пути к неминуемой смерти Тэвдорэ срывает цветок, любуется его прелестными лепестками и осторожно прячет за пазуху.

«Когда Оман-паша под конец догадался, что вместо Цхирети этот священник завел его войско черт знает куда, он, отчаявшись, в бешенстве впился ему ногтями в лицо и разорвал его в кровь... Священник не пошевелился и не произнес ни слова. А Оман-паша потерял разум от ярости. Сперва он вырвал ему глаз и большой палец руки, затем впился зубами в горло и стал рвать его... Проклятый поп ни разу не пикнул, ни разу не застонал. И только, когда уже не мог стоять на ногах и без сил рухнул на колени, слабым, едва слышным голосом произнес: «Спасибо тебе, Господи...», но тут же сделал попытку приподняться и приподнялся было, однако силы оставили его и он, не удержав равновесия, упал на левое плечо. Оман-паша как бешеный зверь бросился на него...».

Насколько слаб и беспомощен Тэвдорэ физически, настолько велик он духовно. Его подвиг как бы сотряс весь космос. Последующая сцена производит на читателя неизгладимое впечатление. Черная ночь внезапно разряжается грозой, при каждой вспышке молнии перепуганные турки отчетливо видят на небе изображение священника Тэвдорэ в белой рясе, коленопреклоненного, возведшего глаза горе с удивительным выражением муки и блаженства на лице.

В рассказе ничто не происходит случайно. Не случайно и манера держаться у предателя. Она, в данном случае, дает возможность установить связь с его мироощущением, вообще с его миром. Точно так же, исходя из характера Тэвдорэ, мы должны воспринять его подвиг. Говоря другими словами, сверхчеловеческий поступок Тэвдорэ находится в прямой связи с его человеческой природой, какой нам представил ее автор.

Самопожертвование одного человека оказалось, пожалуй, более результативным, нежели действия целого войска. В ту ночь вместе с Тэвдорэ фактически погиб и его убийца, и все турецкое воинство. На другой день какой-то воин-грузин лишь формально исполнил этот акт, когда в пылу сражения отсек голову Оман-паше на глазах у его воспитателя.

Но не только Тэвдорэ убил Оман-пашу. Его убийцей можно назвать и Али-Мирзу, ибо именно он внушил злосчастному паше абсурдную мысль, будто бы «все гурджи по природе своей предатели». Вспомним, как, разорвав на части Тэвдорэ, Оман-паша приполз к своему воспитателю и, прижавшись разгоряченной головой к его груди, в отчаянии прорыдал: «Ата-Сулейман, а ведь этот старый пес Али-Мирза говорил, что все...?!»

Мы приходим к естественному выводу — любая крайность в оценке характера нации и ошибочна, и губительна. И если окрестить весь народ предателем — непростительная глупость и зло, то столь же опасна другая крайность — идеализировать национальный характер. Джемал Карчхадзе — сторонник реалистического подхода к данной проблеме. «Мы со своими положительными и отрицательными сторонами такие же, как все народы на земле», — говорит Акакий Бакрадзе. Каждый народ имеет своих героев и своих предателей, и нет никакой необходимости закрывать глаза на собственные недостатки или замалчивать их, напротив, необходимо выявлять их и бороться с ними. Грузинская классическая литература всегда придерживалась этого принципа, ибо, как видно, древние хорошо усвоили одну истину: «Народ, который не в состоянии увидеть свои недостатки и признать их, неминуемо оказывается на краю страшной пропасти».



СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ

Культурные и политические связи Грузии и Франции насчитывают много веков, и хотя, казалось бы, немало уже известно о них, но каждый раз исследователь неожиданно обнаруживает что-то новое, неизвестное или малонизвестное. В книге дружбы каждая страница важна, даже если она на первый взгляд и не очень существенна.

Обычно, когда говорят о дружбе французов и грузин, речь в основном идет о пребывании грузин в Париже или французов в Тбилиси. Но как и Грузия не исчерпывается своей столицей, так и Париж это еще далеко не вся Франция.

Приблизительно в центре Франции расположен знаменитый курорт Виши. Сейчас в нем проживает около тридцати тысяч жителей, а в XIX столетии это был очень маленький городок. В 1859 году его посетил Иван Тургенев. Он сообщал Полине Виардо: «Виши далеко до приветливых и аккуратных курортов Германии. Тут и грязновато, и скучновато. Мало деревьев, большая река несет свои мрачно-желтые воды, место явно непоэтичное. Русских здесь мало — оно и лучше. Надеюсь, останусь один и смогу поработать».

Сентябрьский номер 1987 года журнала «Советская литература», выходящего на нескольких иностранных языках, был посвящен Грузии. В этом номере была и моя статья об Александре Дюма — одном из первых французов, участвовавших в становлении и укреплении дружбы Франции и Грузии. Через несколько недель после выхода журнала мне позвонили из его редакции и сказали, что меня разыскивает некая француженка, приехавшая в Москву в качестве туристки. Мы встретились. Это была Жанин Небуа-Момбе — автор статьи, которую я горячо рекомендую прочитать всем, кто интересуется культурными связями грузинского и французского народов. Ж. Небуа-Момбе — известный врач-терапевт, она руководит обществом Франция—СССР в городе Ви-

Судьба курорта переменилась через два года после того, как здесь лечился великий русский писатель. В 1861 году император Наполеон III приехал на воды в Виши. Городок ему понравился и он сделал все, чтобы курорт начал развиваться. Если бы Тургенев посетил Виши через 4—5 лет, он бы не узнал его.

Еще быстрее растет город после разгрома Наполеона III, особенно в 1880-х годах. Пять месяцев в году Виши переполнен отдыхающими, здесь ставят много спектаклей, светские приемы сменяют друг друга. Все чаще и чаще посещают Виши иностранцы. Например, из Российской империи ежегодно приезжает в Виши примерно 900 человек, в основном из Петербурга и Москвы. Из других территорий России пациентов очень мало, считанные единицы. Однако с Кавказа (и особенно из Грузии) приезжают — немного, но приезжают. Я просмотрела списки иностранцев, посещавших Виши — списки хранятся в городской библиотеке. Так, например, в июне 1880 года в Виши приехал князь Дмитрий Чавчавадзе. Это имя было известно французам, ведь сам Александр Дюма рассказал о похищении княгинь Чавчавадзе лезгинами: этой истории автор «Трех мушкетеров» посвятил три главы в своем «Путешествии по Кавказу» (А. Дюма. Кавказ, Тбилиси, изд. Мера-ни, 1988, с. 181—192). Князь Дм. Чавчавадзе не был в числе похищенных, но он носил ту фамилию, которую носили несчастные пленницы. Кстати, о похищении княгинь Чавчавадзе было известно не только со слов А. Дюма, но и благодаря рассказу мадмуазель Дрансей, гувернантки в княжеском доме, которая была похищена вместе со всеми и, вернувшись во Францию, подробно рассказала об этом.

ши, занимается исследованием связей Грузии и Франции в период с 1850 по 1890 годы.

Мы подружились. Узнав о моих дюмаведческих исследованиях, Ж. Небуа-Момбе приняла в них горячее участие. В частности, она подарила мне много первых изданий книг А. Дюма, а также других материалов, полезных всякому дюмаведу. Читатели «Литературной Грузии» знают, что много лет я добивался, чтобы в столице Грузии появилась улица Александра Дюма. И она появилась: 20 октября 1989 года улица А. Желябова была переименована в улицу Александра Дюма и были вывешены соответствующие таблички. В Тбилиси создается музей А. Дюма. И все эти ценнейшие книги, подарен-

В то же время, когда в Виши лечился Д. Чавчавадзе, здесь же находился и сын великого романиста. Не исключено, что А. Дюма-сын встречался с князем Д. Чавчавадзе.

Примерно в то же время Виши посетил еще один грузин — еще один человек, напомнивший французам о Грузии и об Александре Дюма. Это был тифлисец по фамилии Зубалов. Он приехал лечиться, провел много времени в Виши и здесь же скончался. Мы не знаем имени этого грузина, но знаем, что в бытность свою в Тифлисе автор «Кавказа» жил в зубаловском доме.

Среди посетителей Виши встречались и другие грузины — это все были люди достаточно обеспеченные и просвещенные. Иными словами, слава о курорте Виши добралась и до грузинских гор и долин.

А что знали жители Виши о Грузии?

В городокой библиотеке Виши хранится коллекция книг и журналов одного местного жителя — Валери Ларбо. Среди этих книг и журналов, большинство из которых ныне представляет библиографическую редкость, имеется «Журнал путешествий»: в нем приводились заметки, гравюры, различные документы о путешествиях, информация географических обществ и т. д. Много места в этом журнале занимают сведения о Кавказе. В частности, безымянный автор рассказывает о столице Грузии: «В Тифлис, несмотря на то, что это большой город с населением более 60 тысяч жителей, можно добраться лишь с караваном... Старая часть Тифлиса сохранила весь свой восточный облик с его византийскими храмами, персидским базаром... новая же часть Тифлиса выглядит как большой европейский город... В Тифлисе не встретишь скаред-

ные мне Ж. Небуа-Момбе, этой удивительной француженкой, которая, выйдя на пенсию, совершенно самоотверженно приносит их в дар этому музею, я отдал туда.

Судьбы людские всегда поражали меня. И то, в частности, что врачи очень часто занимаются сферами, которые, казалось, далеки от медицины. В октябре минувшего года в Тбилиси проходил VI Международный симпозиум по грузинскому искусству. Среди делегатов Франции на этом симпозиуме были Мишель и Николь Тьерри — супруги-врачи, активно занимающиеся грузинским искусством. Теперь среди врачей-картвелологов и Жанин Небуа-Момбе.

Московские филологи Элен и Владимир Метловы сдела-

ной скупости. Как только торговец разбогател, он считает своим долгом распространить на своих близких и родных все блага, добытые им, которыми в свою очередь пользуются менее обеспеченные люди».

Далее автор описывает грузчиков (муша), трактирщиков, представителей многочисленных народов, населяющих Тифлис. Он удивляется тому, что в Тифлисе есть хорошие гостиницы, дается много спектаклей, «ведь это за две тысячи лье от парижских бульваров!». Кроме того, им отмечено, что «климат в Тифлисе здоровый, жизнь дешевая, местные жители славятся своим мягким, веселым и гостеприимным нравом».

Славятся жители Грузии и красотой — если судить по другой статье из того же журнала, автор которой утверждает, что «Кавказ населяют самые красивые мужчины земли».

Среди книг, хранящихся в городе Кюссе (недалеко от Виши), есть одна, рассказывающая о необыкновенных похождениях и странствиях Карлы Сереры. Эта неугомонная женщина хорошо владела французским языком и описала свое путешествие из Финляндии в Персию и Турцию. В Грузии она пробыла около двух лет. Став членом Географического общества в Петербурге и Париже, она выпустила «Мои путешествия» — рассказ о ее приключениях, к которым написал предисловие сам Виктор Гюго.

Большой интерес представляют упоминания о Грузии в трудах врачей, работавших в Виши. Среди редких книг, обнаруженных мною в библиотеке Медицинского общества Виши, имеется «Исторический очерк о минеральных водах, употребляемых в медицине, а также сведения об экзотических минеральных водах». Автор этой книги, вышедшей в 1826 году, Жан Луи Алибер (1768—1837) — выдающийся французский

ли перевод ее статьи. В один из последних приездов Ж. Небуа-Момбе в Москву я рассказал ей о грузинской колонии в Левилле. Она заинтересовалась судьбой грузин, заброшенных во Францию. Недавно я получил от доктора Небуа-Момбе письмо, в котором она сообщает, что посетила Левилль и обошла все дома, в которых еще живут грузины. Она выписала их фамилии и адреса. Я привожу их: может, кто-то из читателей узнает среди этих людей своих родных и близких. Левилль, ул. Жюля Ферри, дом 10; Мамна (Беришвили, Ида Бокучава, Георгий Шарашидзе, Чучана Датнашвили, Павел Вачадзе, Пачулиан Кедна, Симон Кекелидзе, Виктор Карселадзе, Та-

дерматолог, физиотерапевт, гидротерапевт. Профессор Алибер был королевским врачом, руководителем больницы Св. Людовика. Никогда не бывав в Грузии, он подробно и точно пишет о тифлисских горячих источниках и о тифлисских банях. «Бани очень походят своей температурой и составом на бани Элифа, есть холодная и горячая вода, позволяющая регулировать температуру в бане. Жители города внимательно следят за содержанием банных помещений. Туда ходят как для удовольствия, так и для поддержания здоровья».

В 1876 году председатель Французского общества развития науки, находясь на конгрессе в Клермон-Ферране, назвал Виши «городом Граций на лужайке Любви». Членом этого общества был и господин Мориц — директор обсерватории в Тифлисе. Может быть, он тоже приезжал на этот конгресс...

9 марта 1888 года газета «Курьер Виши» сообщала о покупке земель на Кавказе одной лионской фабрикой, которая намеревалась внедрить там шелководство (о распространенности шелководства на Кавказе сообщал и Александр Дюма в упомянутой книге).

В качестве небольшого, хотя и курьезного штриха, указывающего на интерес вишийцев к Грузии, укажу, что в 1890 году один из любителей бегов в Виши назвал лошадь, участвовавшую в бегах, «Тифлис».

Я продолжаю работу в архивах и книгохранилищах Виши и уверена, что найду еще много упоминаний о Грузии. Но уже сейчас я хочу подвести некоторые итоги, и они таковы: между Виши и столицей Грузии давно уже существовало некое взаимное тяготение, вишийцы с интересом и симпатией относились к Грузии. Почему бы эти отношения не усилить, не развить, не закрепить, породнившись городами? Не является ли все описанное выше поводом к тому, чтобы Тбилиси и Виши стали городами-побратимами.

мар Мусхелишвили, Николай Урушадзе, Илья Такаишвили, Мадлен Титвинидзе, Бенъямин Рамишвили.

В доме № 19 по той же улице сейчас живет Николай Саралидзе. Может быть, написание каких-то имен и фамилий неточно, но суть ясна.

Ж. Небуа-Момбе изучает связи Грузии и Франции. Сама она тоже связующее звено между двумя странами, двумя народами. Низкий ей поклон за это!

Михаил БУЯНОВ



11 декабря 1990 года состоялось очередное заседание сессии Верховного Совета Республики Грузия, на котором был принят Закон об упразднении Юго-Осетинской автономной области.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ ОБ УПРАЗДНЕНИИ ЮГО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Сепаратистские силы в Юго-Осетинской автономной области пытаются путем образования т. н. «Юго-Осетинской Советской Республики» узурпировать государственную власть, посягнуть на территориальную целостность Республики Грузия и отторгнуть от Грузии ее историческую, неотъемлемую часть, что явно противоречит не только Конституции Республики Грузия, но и Конституции СССР, элементарным нормам международного права.

Несмотря на неоднократные предупреждения высших органов власти Республики Грузия о пресечении незаконных действий самозванной власти автономной области, 9 декабря в области все же были проведены выборы Верховного Совета т. н. «Юго-Осетинской Советской Республики», что создало реальную опасность нарушения территориальной целостности Республики Грузия.

С учетом того, что Юго-Осетинская автономная область была образована в 1922 году вопреки воле проживающего в этом регионе коренного грузинского населения и в ущерб интересам всей Грузии, что не раз подтверждалось за время существования области, а также ввиду того, что осетинский народ имеет в Советском Союзе собственную государственность на своей исторической территории — в Северной Осетии и что в пределах Юго-Осетинской автономной области, где осетины имеют и впредь будут иметь все права культурной автономии, живет лишь малая часть осетинского населения, проживающего в Республике Грузия, Верховный Совет Республики Грузия в соответствии с пунктами 3 и 11 статьи 104 Конституции Республики Грузия **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Упразднить Юго-Осетинскую автономную область.
2. Упразднить Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области, его исполнительный и распорядительный

орган — исполнительный комитет и другие государственные органы области.

3. Считать утратившими силу Декрет № 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Грузии от 20 апреля 1922 года «Об устройстве Юго-Осетинской автономной области» и Закон Грузинской ССР от 12 ноября 1980 года «О Юго-Осетинской автономной области».

4. Подтвердить ранее принятые высшими органами власти Республики Грузия решения об антиконституционности преобразования сепаратистскими силами Юго-Осетинской автономной области в Юго-Осетинскую Советскую Республику.

Признать недействительными, как не имеющие юридической силы, проведенные 9 декабря 1990 года выборы т. н. «Юго-Осетинской Советской Республики» и их последствия.

5. Комиссии по законодательству и охране законности Верховного Совета Республики Грузия представить предложения о внесении изменений в Конституцию и другие законодательные акты Республики Грузия.

6. Совету Министров Республики Грузия:

— представить Верховному Совету Республики Грузия предложения об административно-территориальном устройстве бывшей Юго-Осетинской автономной области;

— осуществить предусмотренные Законом меры по установлению общественного порядка на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, пресечению функционирования самозванной власти и органов управления;

— привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом.

7. Прокуратуре Республики Грузия рассмотреть и решить вопрос ответственности должностных лиц, которые в Юго-Осетинской автономной области не подчинились решениям органов государственной власти Республики Грузия, грубо нарушили установленные Конституцией правила проведения выборов, посягнули на территориальную целостность Республики Грузия, злоупотребили правами, предоставленными Законом должностным лицам.

8. Закон вступает в силу с момента принятия.

Председатель Верховного Совета Республики Грузия
З. ГАМСАХУРДИА

Тбилиси.

11 декабря 1990 года.

КОНТРОЛЬНЫЕ
ЛИСТЫ

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Ровен АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Ананда БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгыз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили

Корректор Е. Сопромадзе

Сдано в набор 21.01.91 г. Подписано к печати 19.03. 91 г.
Формат бумаги 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5.000. Заказ 169. Цена 1 р. 30 к.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло», по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

1 რუბ. 30 კ.

6813/2

ИНДЕКС 76117



ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი
„ლიტერატურული გრუზია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის თბილისის
გამოცემის 1957 წლის ივნისიდან



«Литературная Грузия», № 1, 1—224